

Евг. Маймин Я их
помню

ЛЕНИЗДАТ



Евг. Маймин

Я их помню

Повесть, рассказы, очерки



ЛЕНИЗДАТ · 1989

84.3P7

M14

4702010206—253
M171(03)—89 186—89

ISBN 5-289-00434-3

© **Лениздат, 1989**



За рекою — белые домики

Повесть

*Моим товарищам
по Великой
Отечественной войне,
солдатам и командирам
157-й стрелковой дивизии*

1

Жаркий густой воздух чуть просеивался влагой. Легкий влажный ветер дул со стороны реки. Река эта, широкая и полноводная, носила название Неман.

На восточном берегу реки, метрах в трехстах от берега и дальше вглубь, находились наши боевые позиции. Позиции нашей дивизии. Стрелковых полков и артиллерийского полка. Нашей штабной батареей.

Шел 1944 год. Была середина июля.

В тот день, в канун важных событий, к нам пришел новичок. Он казался совсем зеленым. Молоденький, долговязый, худющий. На голове новенькая пилотка, надетая слегка набекрень. Туго заправленная под ремень гимнастерка, застегнутая на все пуговицы — строго по уставу. За спиной — вещмешок. И ботинки с обмотками, которые делали новичка еще моложе и еще хуже.

Мы сидели тогда около своей землянки. Все, кроме Валентина Мочульского, который дежурил на верху дерева, возле стереотрубы. Мы сидели, а новичок как-то неуверенно, озираясь по сторонам, подходил к нам.

Его, видимо, что-то смущало, он в чем-то сомневался. Когда подошел, сказал, прорываясь сквозь смущение:

— Здравия желаю! Прошу извинить. Вы не скажете, где тут отделение разведки четырехста двадцать второго артиллерийского полка? Меня послал товарищ старший лейтенант Горбунов.

Навстречу новичку первым поднялся во весь свой рост Василий Иванович. Он всегда все старался делать первым, наш Василий Иванович. Он произнес с важностью и достоинством, произнес, точно отрапортовал:

— Тридцать третьей армии, сто пятьдесят седьмой стрелковой дивизии, четырехста двадцать второго полка, штабной батарее, разведчик младший сержант Масленников. — И добавил с еще большею значительностью: — Василий Иванович. — И еще добавил, взмахнув рукой в нашу сторону: — Также разведчики.

После этого он снова уселся на свое место, на землю, и больше уже ничего не сказал.

Лицо новичка менялось на наших глазах. Из растерянного оно делалось радостным. Оно все засветилось радостным изумлением и улыбкой.

— Очень интересно, — сказал новичок, имея в виду Василия Ивановича. — Значит, вы и есть разведчики. Меня зовут Серегой. Прибыл в качестве пополнения. К вам. Могу быть и радистом.

— Радисты нам нужны, — подтвердил Боря Пронин, наш командир отделения. Он протянул новичку руку: — Будем знакомы, Серега. Будем вместе воевать.

Поднялся тут и Вася, Васек. Сказал просто и посмотрел на Серегу просто и открыто:

— Я Вася. Тезка Василия Ивановича. Вася Богачев.

Был Вася Богачев крепкий, среднего роста, с удивленно-задумчивыми глазами. Что я знал о нем? Совсем немного. Только то, что он сам о себе рассказывал. Но мне казалось, что я знаю его очень давно. Что-

то необыкновенно привлекательное было в этом парнишке, душевное. Был он мне дорог и мил больше всех других моих товарищей.

Сережа как стоял с улыбкою на лице, так и продолжал стоять. Продолжал улыбаться. Он явно был доволен, что попал к нам.

Боря Пронин спросил его:

— Ну как?

— Хорошо.

— Хорошие мы ребята?

— Хорошие.

— А Василий Иванович больше всех понравился?

— Угу, — сказал Сережа.

Боря повысил голос, чтобы его услышал не только Сережа, но и Василий Иванович, который, сидя рядом, совсем отключился от разговора и думал о чем-то своем.

— Василием Ивановичем мы гордимся. Он у нас кавалер двух орденов Славы и самый образованный человек. Таких, как он, больше нигде не отыщешь. Уникум.

Василий Иванович делает вид, что ничего не слышит. А может быть, он и на самом деле не слышит. Боря продолжает, указывая Сереже на дуб, который метрах в пятидесяти от нас, ближе к Неману:

— А там сидит еще один уникум. На Василия Ивановича не похож, но тоже оригинал. Валентин Мочульский. Сидит на самом верху дуба. Наблюдает за противником. Когда ты его, Сережа, увидишь, ты сразу догадаешься, что это он.

— Догадаюсь, — уверенно говорит Сережа.

— Ты не голодный? — спрашивает его Пронин.

— Нет, — отвечает Сережа. — Я к голоду привычный. Меня это не беспокоит. К тому же я недавно поел. В штабе полка. Меня повар блинчиками угостил. Смешной такой повар. Маленький, квадратный. Ванюшкой

зовут. Ему старший лейтенант Горбунов велел. Хороший у вас старший лейтенант. Мне он очень понравился.

— Это хорошо, что тебя блинчиками накормили,— говорит на это Боря Пронин.— Считай, что тебе повезло. А мы вот с самого утра еще ничего не ели. И неизвестно, когда будем есть. Ты знаешь, кто в этом виноват? Если не скажу, не догадаешься. Василий Иванович. Он сегодня ответственный за кормежку, а у него танкисты свинью украли.

— Как это украли? — с живым интересом спрашивает Сережа.

— Так вот и украли. Потерял наш товарищ бдительность. Только вчера свинью где-то раздобыл, проявил находчивость. Сам и заколол ее, и зарыл до времени, запрятал. А сегодня отправился за ней, а ее и след простыл. Нету свиньи. Там поблизости танкистов видели. Не иначе они и воспользовались. Такая вот хреновина с нашим знаменитым разведчиком получилась. Обидно и досадно. Хоть смейся, хоть плачь.

Это Василий Иванович услышал. Он пробудился от глубокого раздумья и поворачивает к Пронину голову:

— Пронин, ты меня звал?

— Не звал. Я просто Сереже о тебе рассказывал. Нашему новому молодому другу. Как ты опростоволохился. Кстати, мы с Серегой интересуемся, будешь ли ты нас кормить сегодня или нет?

— Успеешь,— спокойно возражает Василий Иванович.— Не спеши, коза, все волки твои будут. Уж больно ты, Пронин, много о еде думаешь! — Поставив Пронина на место, Василий Иванович переводит свой взгляд на новичка и неожиданно начинает задавать вопросы: — У тебя какое образование, Серега? Девять классов? Ну тогда ответь мне: кто был самым умным человеком всех времен и народов?

Вася Богачев смеется:

— Не пугайся, Серега. Тезка задает свои коронные вопросы. Он всем новичкам задает такие вопросы.

— Это он для того задает,— поясняет Боря Пронин,— чтобы узнать, пригоден ли новичок быть разведчиком. Если не хватает у человека эрудиции, какая уж тут разведка!

В замечании Пронина Василию Ивановичу не нравится не столько его смысл, сколько тон, каким оно сделано. Он тут же бросается в бой.

— Пронин, а ты в Тамбове когда-нибудь бывал? — воинственно спрашивает Василий Иванович.

Пронина нисколько не удивляет вопрос. Ему не впервой слышать его и отвечать на него, он хорошо знает, что будет дальше.

— Не был я в Тамбове, Василий Иванович,— спокойно говорит Боря Пронин.— Никогда не бывал.

— Ну, если не бывал, тогда и не говори. Если не был, тогда можешь помолчать,— удовлетворенный скорой победой, замечает Василий Иванович. И снова обращается к Сереже:— Так кто же был самым умным человеком всех времен и народов?

— Не знаю, Василий Иванович,— простодушно признается Сережа.

— Не знаешь, так знай,— говорит Василий Иванович.— Грибоедов был самым умным человеком всех времен и народов. Ты слышал когда-нибудь о Грибоедове?

— Мы в школе его проходили. В восьмом классе.

— Он три факультета окончил,— не обращая внимания на слова Сережи, говорит Василий Иванович.— Он самым главным из всех дипломатов был. Написал поэму «Горе от ума». Музыку сочинял. Вальсы. Мелодичные. Я слышал. А женился он на самой красивой девушке. Из грузинок она. Когда Грибоедова убили,— это англичане все устроили,— она замуж больше выходить не стала, верною была Грибоедову.

Василию Ивановичу явно есть еще что сказать о Грибоедове, но его перебивает Боря Пронин:

— А я, признаться, думал, что ты, Василий Иванович, самый умный человек всех времен и народов.

— Попрошу помолчать,— отругивается Василий Иванович и задает Сереже новый вопрос:— А ты знаешь, как умер Пушкин?

Пронин считает, что урок, который преподавал и готов далее преподавать Сереже Василий Иванович, слишком затянулся. Его всерьез беспокоит вопрос о питании. Он должен что-то по этой части предпринять. Он идет к землянке, берет лежащий у входа свободный вещмешок, вручает его Василию Ивановичу.

— Вот что, друг мой милый,— говорит он,— мы сами расскажем Сереже, как умер Пушкин. А ты сообрази нам что-нибудь. Иди, брат, иди! Голод, понимаешь, не тетка.

Пронин говорит и легонько подталкивает Василия Ивановича. Тот огромный, на голову выше Пронина, но идет, не сопротивляется. Впрочем, сделав несколько шагов, он все-таки оборачивается, бросает Пронину:

— А ты, сержант, в Тамбове был?

Я и тогда не мог понять, и теперь не знаю, шутил ли Василий Иванович, была ли игрою его особенная манера говорить и вести себя, или все это он делал всерьез. Так это и осталось для меня загадкой. Но как живо зато я его помню! До сих пор помню, хотя с той военной поры столько уже не лет даже, а десятилетий утекло. Помню и вижу. С огромными, длинными руками-лопатами, с лицом, покрытым рябинками, всегда в маскировочном костюме, на котором блестят, позванивают ордена Славы и три боевые медали «За отвагу».

Когда Василий Иванович скрывается из виду, Сережа говорит:

— Смешной он очень.

— Ты о Василии Ивановиче? — переспрашивает Боря Пронин. — Да, забавный. Чудак, что называется. Но это ничего. Это даже хорошо. Чудаки — всегда хорошие люди. Земля наша светится чужаками.

И после небольшой паузы продолжает:

— А в бою он очень спокойный. Ничего не боится. Ты заметил, что он свои гранаты, мы их «лимонками» называем, к ремню запалами цепляет? Так нельзя. Уставом не положено. Опасно для жизни. А ему все нипочем. Отчаянный он. Лихой вояка. Мы все, Сережа, в общем лихие вояки. Давно воюем. Научились воевать.

— А я еще не научился, — замечает Сережа. — Не умею. Рацией владеть могу, а что такое война — по-настоящему и не знаю. Я ведь в первый раз на фронте. В самый первый раз. Но я постараюсь поскорее научиться. Смогу ведь? Как ты думаешь, Боря? — И еще один вопрос задает Сережа — очень наивный вопрос: — Боря, а вам часто приходится по-настоящему воевать?

Боре Пронину, да и всем нам, новичок нравится все больше. Мы чувствуем себя рядом с ним старшими, опытными и бывалыми. Нам это льстит, и нам это приятно. Рядом с ним мы точно становимся значительнее — даже в собственных своих глазах. Может быть, поэтому нам и мил так Сережа.

Боря Пронин говорит ему:

— Что значит воевать по-настоящему, Сережа?

— Ну, ходить на задание, приводить «языков». Ну, мало ли еще что — я не знаю, — объясняет Сережа.

— За «языками» в основном пехотная разведка ходит, — вступает в разговор Вася Богачев. — А мы разведка артиллерийская. У нас другое назначение. Хотя иной раз и с «языками» приходится дело иметь. Вот в мае, например. Еще до большого летнего наступления. Вместе с дивизионной разведкой к немцам ходили. По

личному приказу командира дивизии. Знатное было дело. Мы в группе поддержки были. Сами «языков» не брали, но участие принимали. Шесть «языков» привели. Из инженерной команды.

Едва ли Сережа знает, что такое «инженерная команда», но он все равно восхищен.

— Здрово! — говорит Сережа.

— А по части «языков», — продолжает Вася, — было еще у нас, когда минскую немецкую группировку уничтожали. Освободили мы Минск, помнится, третьего июля сорок четвертого года. А немецкие части в окружении остались. По лесам скрывались. В Белоруссии леса — это обычное дело. Для ликвидации окруженных группировок специальный фронт тогда выделили. Вторым Белорусским назывался. Наша дивизия входила в этот фронт. Сейчас мы в Третьем Белорусском, а тогда были во Втором. Охотились за немцами. Не просто «языков» одиночных, а целые подразделения ихние в плен забирали. У нас это называлось «по грибы ходить».

— Вот это да! — восхищается Сережа.

— Вася больше всех и приводил немцев, — поясняет Боря Пронин. — Однажды он со своим дружкой Мочульским тридцать фрицев зараз привел. Целую колонну.

— Как же это удалось? — удивляется Сережа. — Два человека — и тридцать немцев. Это же настоящее геройство! Сильно сопротивлялись?

Богачев — всегда честный и прямой, а сейчас он не прочь слукавить. В действительности немцы не только не сопротивлялись, но сами охотно в плен шли. Однако признаваться в этом Васе почему-то не хочется. Ни неправды сказать, ни в правде признаться. Вот и машет рукой он этак небрежно и говорит:

— Пустяки. Разве это вояки?

— Понятно, — догадывается Сережа, как того и хо-

телось Богачеву.— Скрамность украшает героя. Суду все ясно.

— Ничего тебе не ясно,— неожиданно возмущается Вася. Больше всего он собою возмущается.— Совсем фрицы не сопротивлялись,— признается он.— Их хоть голыми руками забирай. Некуда им уже было деваться.

Боря Пронин только теперь замечает, что Сережин вещмешок как был у него за спиной, так и остался. Все это время Сережа с вещмешком стоял.

— Дурачок! — говорит он Сереже.— Чего вещмешок не скинул? Тяжело небось. Идем в землянку. Покажу твое место.

2

Наблюдательный пункт был оборудован нами по собственному проекту самым что ни на есть кустарным способом. На широком, расходящемся двумя толстыми стволами дубе были сколочены две поперечные дощатые площадки. Одна посередине — как бы «перевалочная», другая — на самом верху дуба. К площадкам были подведены две составные длинные лестницы, устроенные из обыкновенных лестниц, прибитых друг к другу гвоздями и закрепленных проволокою. По этим лестницам мы и поднимались наверх, где находилась наша стереотруба и откуда мы через стереотрубу и обозревали близлежащую местность.

Лестницы наши, когда мы по ним поднимались или спускались, громко кряхтели, повизгивали, пошатывались, но, как это ни удивительно, выдерживали нас. Выдерживали, наверное, потому, что весу в каждом из нас было немного, были мы людьми военных лет, молодыми и совсем не упитанными. Даже Василий Иванович, имея огромный рост, общео массою своей не слишком выделялся.

В данное время, как уже было сказано, на верхушке дерева у стереотрубы сидит Валентин Мочульский. Правда, если точнее сказать, он не сидит, а сидел. В настоящее время он спускается с дерева.

Ему вдруг захотелось поразмяться. Он почувствовал усталость в голове и в теле. А дежурить ему еще сравнительно долго. Вот он и решил пока что сделать «перекур» на земле.

Перебирая длинными ногами, как бы ощупывая ими ступени лестницы, он сходит вниз. Нам хорошо видна его спина: узкая, крепкая. Достигнув наконец земли, Мочульский поворачивается к нам лицом и с изыщной небрежностью делает приветственный знак рукой.

— Как дневали-ночевали, друзья мои? Какие великие дела без меня сотворили? — По пути к нам он запевает вполголоса песню:

Ты душа ль моя, красна девица!
Ты звезда моя ненаглядная!

С песнею подходит он к Васе Богачеву. Стоит перед ним. Смотрит на него. Уже не поет, а говорит:

— Мой дорогой друг! Что вы можете сказать в свое оправдание? Соскучились без меня? Думы думаете? В ваших глазах я вижу печаль. О чем тоскуете, дружище?

— Чепуха все это, — отвечает Вася.

— Не понял. Разъясните. Что вы называете чепухой, молодой человек?

— Все чепуха, — говорит Вася. — И эта песня твоя — чепуха. Какие такие «звезды», да еще ненаглядные. Просто бабы — и все. Не люблю я их. Не верю. И в любовь ихнюю не верю.

— Теперь все понятно, — замечает Мочульский. — Понятно, что вы имеете в виду. А то, что вы не верите бабам, я это одобряю. Так будет для вас лучше. Гово-

рю это вам как человек опытный.— Мочульский снова запекает, но уже другую песню:

Ах, дайте киски, ах, дайте, краски,
И живопиской буду я.

Вася улыбается. Хотя и эта песня ему не очень нравится.

— Какие такие «киски»? — говорит он.— Откуда ты взял эту песню? Уж не сам ли выдумал?

— Нет, не сам,— возражает Мочульский.

Он присаживается рядом с Васей. А Васе очень хочется поговорить с Мочульским по душам. Он часто разговаривает по душам с Валентином.

— Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? — говорит Вася Валентину.— Когда же мы наконец пойдем в наступление? Скорей бы. Ждать надоело. Сегодня к нам новичок пришел. Может быть, это знак? Ведь нам давно уже не давали пополнения. Может быть, это перед «сабантуем»?

— Друг мой, я не могу вас понять,— откликается Валентин.— Отчего это вы так жаждете «сабантуя»? Можно подумать, что вы спешите на тот свет. Это неразумно. Или вам так досталось от старшего лейтенанта за Фешу, что вы впали в меланхолию? Расстроились?

— Ерунда! — не соглашается Вася.— Чего это мне расстраиваться?

— Ах, молодой человек,— продолжает свое Мочульский.— Не могу не сказать вам, что вы вели себя дурно. Старший лейтенант прав, а вы не правы. Разве можно так говорить о женщине: «баба с возу — кобыле легче»? Это, милый, не пословица, а плохое воспитание. А наша Фешенька не просто женщина. Она совершенно прелестная женщина. Вам нужно изменить свое поведение, мой дорогой друг. Можно не верить в

любовь женщины, но оскорблять женщину нельзя. Это недостойно настоящего кавалера.

— Ерунда все,— говорит Вася.— Не о том ты речь ведешь. Я почему о наступлении думаю? Фашиста, гада, ненавижу. Разбить его поскорее хочется. А то, что меня Горбунов ругал,— плевать я хотел. На него и на прелестную женщину Фешеньку заодно. Я человек свободный. Мне никто из них не нужен.

Валентин Мочульский не верит Васе. Вместо ответа он снова начинает напевать:

Ты услышь меня, полюби меня,
Полюби меня, радость дней моих!

— Что это ты заладил,— недоволен Вася.— Полюби да полюби! Очень уж ты все время крутишься вокруг этого дела.— И продолжает: — Я ведь почему еще о наступлении мечтаю. Помнишь, нам говорили о белых домиках за рекой. За Неманом. Говорили, что это стратегически важный объект. Что в них ключ к победе. А они, эти домики, вон как близко. Почти на самом берегу. Мы с тобой невооруженным глазом их видим. Вот и ахнуть бы по ним поскорее. Навалиться бы всеми силами. Захватить их. Или бы нам самим позволили. Думаешь, не сможем?

— Не сможем, так танкистов на помощь позовем,— говорит Валентин Мочульский и делает взмах рукою в сторону, направо.— Посмотрите, друг мой. Вон там, за кустами. Совсем близко. Видите? Братья-танкисты появились. Вчера еще они были позади нас. А сегодня на наш рубеж выдвинулись. Понимаете ситуацию? Проникли в суть вещей, молодой человек? Полагаю, что танкисты тоже о белых домиках помышляют.

Вася с готовностью горячо подхватывает:

— Верно, и они тоже. Не иначе. Ты знаешь, Валя, мне вот что сейчас в голову пришло. Будто домики —

это не только домики. Это как желанный наш рубеж. Как конец пути. Возьмем домики — и вроде война для нас кончится. И все самое хорошее, мирное к нам вернется. Только добраться бы до домиков.

Мочульский смотрит на Васю с особенным вниманием и, как всегда с Васей, ласково иронизирует:

— Вы, я вижу, лирик, молодой человек. Начитались популярной литературы и сделались лириком. Что ж, это даже хорошо. Мне это в вас нравится.

Из землянки выходят Боря Пронин и Сережа. Сережа, увидев Мочульского, сразу же быстрым шагом направляется к нему. У него это получается непринужденно, как порыв.

— Вас зовут Валентин, — говорит Сережа, протягивая Мочульскому руку. — Боря сказал мне, что я вас сразу узнаю. Я узнал. Рад с вами познакомиться.

Валентин Мочульский пожимает протянутую ему руку и любезно улыбается.

— То, что вы меня узнали, — замечает он, — делает вам честь. Я вас тоже узнал, юноша. Несомненно, что вы новичок. Я вас категорически приветствую. Мы еще с вами будем встречаться.

И, сказав так, Валентин поворачивается к Васе.

А Сережа еще стоит некоторое время около Валентина, точно еще ждет от него чего-то, и, только осознав, что не дожидается, возвращается к Борису.

— Познакомился? — спрашивает Боря Пронин.

— Познакомился, — отвечает Сережа. — Оч-чень интересный. Красивый. Его, наверное, сильно женщины любят.

— Любят, — подтверждает Боря. — Любят. Особенно, если верить тому, что он сам рассказывает.

— А можно не верить?

— Почему же! Чуть-чуть приукрашивает, а главное — правда. Я так думаю.

Одновременно продолжают свой разговор Мочуль-

ский с Васей. Они очень увлечены разговором. Особенно Вася. Валя говорит ему:

— Да, молодой человек, вы действительно неисправимый лирик. Любопытно узнать: в каком из краев нашего обширного отечества родила вас ваша мамаша?

Вася охотно откликается на вопрос Валентина. Лирическая волна захватила его.

— Откуда я? Да ты уже знаешь. Я тебе, Валя, рассказывал. До войны я в Туле учился. Которая самоварами, как говорит пословица, богатая. Учился в индустриальном техникуме. А окончить не пришлось. На войну ушел. Родился же я на хуторе Совенки. Там моя настоящая родина. Хутор Совенки Катешовского сельсовета Дубенского района. Это от Тулы на запад, в сторону Калуги. Туда от Тулы не обычная дорога ведет, а узкоколейка. От Тулы до Дубны пятьдесят километров — ровно пять часов, если не больше, едешь. Наш паровоз — как старый старичок. Идет еле-еле, идет и отдувается и отдышаться не может. Когда в гору поднимается — а дорога от Тулы часто в гору идет, — паровоз двигается так медленно, что иные из вагонов вылезают — и пешком за поездом. Как взберется поезд наверх, они обратно в вагоны. Интересный у нас край. Красивый.

— А бабы у вас тоже красивые? — спрашивает Валентин.

— Возле нашего хутора Совенки, — не отвечая на вопрос Валентина, продолжает Вася, — речка чистая протекает. Узенькая такая, маленькая — и чистая. Не везде чистая. В других местах, подальше от хутора, и не совсем чистая. В корягах, частично мутная. Мы в этой речке с ребятами раков ловили, рыбу всякую. Кошелками. Ты когда-нибудь, Валя, ловил рыбу кошелками? Установишь кошелку, самую простую, обыкновенную, плетеную, в узком месте реки, запрудишь это место ветками и корягами, а потом возьмешь большую

палку и идешь по реке, штаны засучив по колено, и палкою рыбу пугаешь, в кошелку ее загоняешь. Елки-моталки, черт их чертом, сколько ее, рыбы-то, и раков заодно соберешь! Увлекательное дело. Замечательное.

А за той рекой,— увлеченно продолжает Вася,— по другую сторону от хутора, леспромхоз находится. Три домика. Тоже белые. Как вон те домики, что за Нема-ном. За леспромхозом — лес. Огромнейший. И по эту сторону, за хутором,— лес. Кругом у нас лес. Конца не видно. Заповедный он у нас. Там орехов лесных — сила! Вообще-то орехи частным лицам запрещено было собирать, оттого лес и назывался заповедным. А мы собирали. Двинемся, бывало, целой оравой. И парни и девки. Шуму сколько, веселья! За полдня по несколько сумок больших орехов набирали. Потом их дома на русскую печь. Разложишь нелущеными — это чтобы притомились они, помягчели. Мягкими их очищать легче. А запах от них, от пареных, с печи доносится — чудо! Я и сейчас тот запах вспоминаю и чую.

— Ну а девки-то? — наводит опять на свое Мочульский.— С девками-то у тебя как было? Вот ведь и в лес за орехами с ними ходил. Как у тебя было насчет женского вопроса?

На этот раз Вася не уклоняется от ответа. Он только слегка приглушает свой голос. Наверное, от смущения.

— С девками? — говорит он.— А никак. Жалостливый я был. А может, и бесталанный. Девки-то ко мне хорошо относились. Но были и такие, что смеялись надо мной. Одна, отчаянная такая, дерзкая, спросила меня: «Вась, а Вась! А ты что: мужик или не мужик?»

— Ну и что же ты ей ответил? — смеется Мочульский.

— Что ответил? Растерялся я. Чувствую, что весь горю, и никакие слова из меня не выходят.— Вася больше не хочет говорить об этом. Он сворачивает раз-

говор в другую сторону.— Очень я в детстве лошадей любил. Любил возиться с ними, поить их, задавать корму, пасти, разогревать их после долгого дождя, скача галопом по деревенской улице туда и обратно, туда и обратно. Бывало, еще совсем в малые годы выезжал с батькой в поле, чтобы только дожидаться, когда мне разрешат попоить лошадь. Батька скородит на лошади, а я жду.

— А что такое «скородит»? — спрашивает Валентин.

— Боронит по-нашему. Это была такая для меня радость — забраться на лошадь, отправиться верхом на речку, смотреть, как лошадь мягкими своими губами вбирает из реки воду. Целый день, сидя на поле, в жару, я этой радости дожидался. А потом меня стали посылать в ночное. В ночное мне батька тулуп свой отдавал, чтобы не замерзал я. Хорошо в ночном. Красотища такая! Кругом лес. Звезды на небе дрожат, вздрагивают от холода. А по земле тени двигаются, переходят с места на место. Величественно так на душе. Все в тебе словно замирает, расширяется, ликует.

Пока были единоличниками, со своими лошадьми в ночное ездили. У меня Воронок был. Его так называли. И по цвету масти, и просто так, чтобы имя было. Дружили мы с Воронком. Потом появились колхозные лошади. С ними мы тоже дружили. Мы их чаще всего на край Катешовского верха, в большие луга, выгоняли. Поздно вечером прискачем туда, спутаем лошадей, пустим их на выпас, а сами костер разожжем, сядем во круг. В тулупы закутаемся. У всех были тулупы. Приятно в них, уютно. Сидим мы и разные истории рассказываем. Все больше о разбойниках, которых никто не видел. А спать у нас запрещалось. Такой был закон. Кто заснет — тому наказание. Хорошо было, Валя! Так хорошо!

Вася замолчал. Задумался. Замечтался. Сам не заметил и не почувствовал, как свою руку на руку Валентина положил. И того не заметил, как Валентин свободной рукой раза два провел по его руке.

— Понимаешь, Валя,— снова заговорил Вася,— я не из трусливых. Ты сам знаешь. Но иногда мне в голову совсем не героические мысли приходят. Понимаю, что нам, солдатам, особенно разведчикам, смерти бояться не положено. Всегда должны быть готовы головы положить и всякое такое прочее. А я, понимаешь, боюсь смерти. Елки-моталки, боюсь ее. Только тебе в этом признаюсь, но это правда. Не хочу я умирать. И знаешь, больше всего почему? Очень уж я люблю красоту земную. А видел я ее так мало! Вот недавно, еще под Могилевом, лесом мы проходили. Ночью дело было. Черным, что ли, тот лес назывался — точно не помню. И вот над моей головой птичка пролетела, крыльями прошелестела. Маленькая такая. Аккуратная вся. Бродит как летучая мышь. Только меньше размерами. Но летучая мышь некрасивая, а эта красивая. Даже очень. И вот какая мысль мне тогда пришла и до сих пор во мне держится. Пролетело надо мною, мимо меня что-то прекрасное. А я толком не знаю, что такое пролетело. Даже названия не знаю. И многого другого не знаю — красивого и прекрасного. Вот этого мне и жаль. Жаль, что не успел узнать всего того в жизни, что приносит радость. И очень боюсь, что так и не успею.

Вася и раньше любил откровенничать с Валентином Мочульским. Мочульский всегда слушал его и чуть посмеивался, позволял себе иронизировать. Сейчас он не смеется и не иронизирует. Он очень серьезен. Он ничего не говорит, достает кисет с трофейным табаком, медленно и старательно закручивает папироску и протягивает ее Васе.

Вася делает несколько затяжек и откладывает папироску в сторону. Неожиданно он запевает:

Закури, дорогой мой, закури...

Валентин любит эту песню и именно поэтому он перебивает Васю:

— Может, лучше на гитаре? Я схожу.

Вася мог бы сходить за гитарой и сам, но сейчас он так отяжелел от переполнивших его чувств, что позволяет это сделать Валентину. Через некоторое время, совсем скоро, Валентин приносит гитару.

Вася перебирает струны, тренькает, прислушивается к звукам, настраивает и настраивается. Потом он начинает петь. Поет всем хорошо знакомую песню разведчиков.

Закури, дорогой мой, закури!
Ты сегодня до самой зари
Не приляжешь, уйдешь опять
В ночь сырую врага искать.
Ты совсем от покоя отвык,
Мой товарищ, боец, фронтовик,
Вижу я по туману волос —
Много выстрадал ты, перенес...

3

Совсем близко от нашей землянки, метрах в трехстах, расположен командный пункт стрелкового полка нашей дивизии. Собственно, командным пунктом называется простой блиндаж. В три наката. Кое-как замаскированный желто-зелеными ветками и пучками травы.

К блиндажу подходит командир полка подполковник Колесников. Он немолод, на его лице самое заметное — пышные, буденновские усы. Глаза у него совсем маленькие и узкие — от усталости. Колесникова догоняет старший лейтенант в выцветшей гимнастерке с фронтовыми погонами, с новенькой блестящей планшеткой. Почти у самого входа в блиндаж ему удается наконец поравняться с подполковником. Забыв об уставных требованиях и субординации, старший лейте-

нант хватает подполковника за рукав. Кажется, что он больше всего боится, как бы командир полка не ускользнул от него. Он говорит с легкой одышкой, которая у него то ли от быстрого шага, то ли от волнения.

— Никак не могу вас поймать. Разрешите представиться, товарищ подполковник. Я корреспондент фронтовой газеты. Прибыл к вам со специальным заданием. Редактор послал. Очень прошу вас уделить мне несколько минут. Рассчитываю на ваше содействие.

Что-то в голосе корреспондента заставляет подполковника Колесникова быть с ним помягче. Впрочем, мягкость вообще в характере Колесникова. Он протягивает корреспонденту руку и говорит:

— Рад познакомиться, голуба. Чем могу быть полезен?

— Видите ли,— говорит корреспондент,— наша газета запланировала в ближайшем номере дать подборку о боевых делах вашей дивизии. О случаях массового и индивидуального героизма. Сообщить имена отличившихся. С этой целью я и прибыл к вам. В политотделе армии советовали именно к вам обратиться.

— В политотделе, говоришь? Это приятно,— замечает подполковник.— О случаях массового и индивидуального героизма? Это можно. А тебе это сейчас нужно, голуба?

— Чем скорее, тем лучше, товарищ подполковник. Материал весьма актуальный. Хотелось бы побыстрее.

— Побыстрее, значит. Это можно. Это хорошо.

Хотя Колесников словами и утверждает, что это можно и хорошо, в действительности он чувствует себя в затруднительном положении. Он знает, что такое героизм, ему известны и факты героизма, но он не привык об этом говорить. Он просто не умеет говорить об этом. И вот почему лицо его освещается прямой радостью, когда он слышит из блиндажа голос своего телефониста:

— Товарищ подполковник, вас вызывает к проводу товарищ «ноль-один». Велит срочно.

— Ну вот видишь,— облегченно говорит корреспонденту подполковник.— Вызывают меня. Прости, голуба. Сейчас не до тебя мне. Пойду. А ты осмотришь пока.

Подполковник уходит, скрывается в своем блиндаже. Корреспондент растерянно озирается по сторонам. Он пробует насвистывать что-то веселое. А может быть, и не очень веселое. Вдруг его глаза останавливаются на Мочульском и Васе, сидящих у своей землянки. Сощурившись и напрягая зрение, он приглядывается к ним, точно оценивает, потом, приняв решение, быстрым шагом идет к ним.

Подойдя вплотную, корреспондент широко улыбается и говорит нарочито громким и бодрым голосом:

— Здорово, ребята! Здорово, молодцы!

Мочульский поднимается и отвечает весело и благодушно:

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Не имею чести знать вас, но рад с вами познакомиться.

В отличие от приятеля Вася благодушия не проявляет. Он явно недоволен, что им помешали. Здороваётся он с корреспондентом нехотя, небрежно прикладывая руку к головному убору.

Между тем корреспондент, разглядев Валю и Васю вблизи, обретает большую долю энтузиазма. Ребята ему нравятся. И Валентин и Вася — оба. Каждый по-своему. Он не знает только, как лучше приступить к делу.

— Воюем? — приступает он, и приступает не лучшим образом.

— Воюем,— отвечает Мочульский, с веселым интересом глядя на корреспондента.

— И давно воюем? — продолжает тот.

— Давно воюем.

— Я посижу тут с вами. Не возражаете? Погово-

рим о том о сем. Обменяемся, так сказать, информацией.

— Обменяемся,— соглашается Мочульский.

— Вы, как я догадываюсь, разведчики? — говорит старший лейтенант.— Догадался по вашим маскировочным костюмам. Да и вид у вас соответственный. Боевой.

— Это верно,— подтверждает Мочульский.— Вид у нас боевой.

— Так вот, ребята. Буду говорить откровенно. Я корреспондент армейской газеты. Я ведь к вам подсел не просто так. Я к вам с великою просьбою. Очень надеюсь на вас.

— У меня,— вспоминает Мочульский,— когда учился в школе, учитель был. Вызовет меня, спросит урок, а потом обязательно меня похвалит: «Мочульский! Я вам ставлю двойку с плюсом. Я на вас надеюсь».

Корреспондент смеется. Почему-то после этой шутки Мочульского ему становится проще. И он сам делается естественнее:

— Хороший у вас был учитель,— говорит он.— Шутник. Но шутки в сторону, ребята. Что, если я вас попрошу рассказать что-нибудь интересное из вашей боевой биографии?

У Васи ничего нет, что он мог бы рассказать корреспонденту. Хмурый, он сидит и молчит. Совсем не то с Валентином. Он всегда готов рассказывать. Он уже рассказывает:

— Недавно мы на нейтралке ночью дежурили. Заснули все. А немец тем временем в атаку пошел...

— Это не пойдет,— прерывает Мочульского корреспондент.— Мне нужно что-нибудь серьезное, героическое.

— Для газетной полосы?

— И для газеты. И для себя тоже. Мне ведь и самому интересно, как это у разведчиков бывает.

— Хорошо,— соглашается Валентин.— Расскажу и для вас, и для газеты. Расскажу о серьезном и героическом.

На Мочульского с удивлением смотрит Вася. До сих пор он его понимал, сейчас не понимает. А Мочульский рассказывает:

— В прошлом месяце это было. После того, как прорвали немецкую оборону под Могилевом. Продвигались быстро. Отступающего немца преследовали. По пятьдесят километров в день вышагивали. Аж ноги ломило. Думали: когда же немец остановится и передышку нам даст? В самом деле так думали и о том мечтали. Вот и сбылись наши мечты. Остановился немец. Совсем, как это бывает, для нас неожиданно. И все тут сразу перепуталось. Никакой устойчивой линии обороны. Не поймешь, где находятся свои, а где чужие. В такой обстановке нас и послали разведать к деревне Эн. Узнать, в чьих руках находится эта стратегически важная деревня. Послали меня и Васю. Вася — вот он, рядом. Мой боевой товарищ и закадычный друг.

Мочульский для пущей наглядности похлопывает Васю по плечу. Вася никак не откликается на этот жест приятеля. Корреспондент до того момента выжидал чего-то, а теперь притягивает к себе планшетку, вынимает из нее пухлую и весьма потертую записную книжку. Ищет в ней свободный листочек. Приготавливается записывать. В руке у него маленький, затейливого вида, трофейный наверное, карандашник.

— Так вот, значит,— продолжает Мочульский,— идем мы с Васей. По дороге. Прямо по направлению к деревне Эн. На дороге никого. Пустынно и одиноко. Только одни мы с Васей дружно в ногу шагаем. Шагаем и оглядываемся. О бдительности не забываем. Вдруг

видим, вдалеке какие-то фигуры на дороге забрезжили. Как раз возле деревни Эн. И быстро так стали к нам приближаться. Догадались мы: бегут они. И прямо-таки в нашу сторону. На рысях.

Корреспондент записывает своим трофейным карандашиком. Торопится. Пишет, не перебивает Валентина. А тот дальше рассказывает.

— Ну, затаились мы с Васей. Проще говоря, залегли. Думаем, кто их знает, что это за фигуры. Вполне может быть, что и фрицы. «Лимонки» свои на всякий случай проверили: целы ли? Автоматы к бою приготовили. И лежим. Ждем. А фигуры, которые бегут, все ближе. Честно скажу, хоть и героические мы люди, а струхнули. Что ж, из песни слова не выкинешь. И мы не из камня сделанные. Только когда фигуры совсем уже близко оказались, увидели мы, что не фрицы это, а наши. То есть не нашей дивизии, а просто наши, русские, как это мы в детстве называли — «красные». Мчатся они во весь дух. Человек пять или шесть их было. Бегут мимо нас и не останавливаются. Языки высунули. Мы было стали спрашивать их: что случилось? От кого вы так резво убегаете? А они ничего не отвечают. Только руками машут. Бегите, мол, и вы за нами. Ну, мы и побежали. Не раздумывая. Потому что в панику ударились. Паника, она ведь вещь очень заразная.— В этом месте своего рассказа Валентин делает паузу. Прерывает рассказ. Вежливо осведомляется у корреспондента: — Вам это интересно, товарищ старший лейтенант? Рассказывать дальше?

— Интересно,— не очень уверенно отвечает корреспондент.

Но больше не пишет. Только играет своим трофейным карандашиком. Время от времени внимательно поглядывает на Валентина. Без улыбки.

Вася тоже поглядывает на Валентина. И он не улыбается. Но он уже готов улыбаться.

А Валентин досказывает свою историю:

— Значит, вскочили мы с моим другом Васей и тоже бежать бросились. Бежим без всяких мыслей. Только дышим. Тяжело дышим. Чем дальше бежим, тем тяжелее. Километра полтора так пробежали. Остановились уже тогда, когда добежали до деревни, где наш командный пункт находился. Словом, откуда вышли, туда и пришли. Дух еле перевели. Как пришли в себя, тут и спрашиваем тех, с кем бежали: «Скажите, друзья дорогие и героические, от кого бежали? Кто преследовал? Не вражеская ли пехота? Или, может быть, танки?» А они смеются. Отдышались и теперь легко так, весело смеются. «Какие,— говорят,— ядрена мать, танки? Не танки, а пчелы. Захотели медком полакомиться, растревожили улей, а пчелы, мать их за ногу, как набросятся на нас. Еле ноги унесли».

Корреспондент карандашиком давно играть перестал. Теперь он убирает и свой карандаш, и записную книжку. Говорит Валентину:

— А ты, я вижу, неисправимый шутник.

— Вы уж не обижайтесь, товарищ старший лейтенант,— почувствовав настроение корреспондента, замечает Мочульский.— В нашем деле не пошутить — не повезешь. А что до пчел, то с ними, скажу вам, не до шуток. Избави нас от них и помилуй. Твари беспощадные. Меня однажды пчела за язык укусила. Думал, помру от боли.

— Знала, куда кусать надо,— не выдерживает характера, улыбается корреспондент. Еще за минуту до того он готов был всерьез обидеться, а теперь вот улыбается.— Ну что ж, спасибо за историю. Для газеты едва ли пригодится, но я ее запомню. Желаю успехов!

Корреспондент встает и прикладывается рукой к фуражке. Одновременно с ним вскакивают и Мочульский с Васей. Оба они сейчас в хорошем настроении и

полны добрых чувств к корреспонденту. Со всею серьезностью и старанием они отдают ему честь.

— Успехов и вам, товарищ старший лейтенант! Не поминайте лихом. Если что не так, извините. Мы к вам со всей душой.

Уходя от разведчиков, корреспондент сталкивается с подполковником Колесниковым. Тот опять куда-то спешит. На этот раз очень спешит и волнуется. Лицо у него красное, в пятнах.

Корреспондент останавливает его:

— Это я опять. Как же со мною, товарищ подполковник?

Колесников так взволнован, что в первый момент даже не узнает корреспондента. Забыл. Смотрит на него с удивлением. Но тут же вспоминает, виновато улыбается.

— А, это ты, голуба. Извини. Голова, понимаешь, в дырках. Тут такие дела! Ты как долго у нас пробуешь?

— Дня два или три. Сколько понадобится.

— Ну вот и хорошо,— улыбается подполковник.— Вот и славно. Иди к моему начальнику штаба. Скажи, чтобы устроил тебя получше. Скажи, я приказал. А завтра приходи сюда. Скажу по секрету, завтра у тебя будет материал. У нас такой «сабантуй» намечается...

Подполковник кивает корреспонденту и спешит дальше. Корреспондент некоторое время стоит в раздумье. Он не знает, сразу ли ему идти в штаб полка или еще подождать. Наконец он принимает решение. Он поворачивается, сильно машет рукой Валентину и Васе и кричит им:

— Ни пуха ни пера, ребята! Назначаю вам свидание на завтра! Мы еще с вами побеседуем.

И, сказав так, корреспондент отправляется своим путем. Уходит.

А Валентин Мочульский говорит Васе:

— Вы поняли, молодой человек? Теперь уже несомненно, что нам предстоят боевые дела. Как говорил поэт, нас ожидает с вами знатный кегельбан. Скоро мы с вами и в белых домиках окажемся. Будем сидеть в чистом помещении, пить кофий и вести интеллигентные беседы о нашей жизни и нашем будущем.

— А мастер ты, Валя, баланды травить,— замечает на это Вася.

— Вы имеете в виду корреспондента? Почему вы их не любите так, молодой человек?

— Вообще-то не люблю,— соглашается Вася.— Уж очень много придумывают они. Один про меня такое написал! Что я один три танка подбил и шесть человек раненых на себе из боя вынес.

— А на самом деле как было?

— Одного вынес. Ваньку Королева. Разве они понимают, что и одного вынести нелегко! Для впечатления им круглое число нужно!

— А танков сколько ты подбил?

— Ни одного. В эти танки со всех сторон стреляли. И пехота, и артиллеристы, и из противотанковых ружей. Вот они и повернули назад. А ты, брат, хорошую историю этому корреспонденту рассказал. Под конец мне стало даже жаль его. Тихий он такой, вежливый. Наверное, хороший человек.

— Наш корреспондент, мой друг,— говорит Валентин Мочульский,— прежде всего вполне интеллигентный человек. И история, которую я ему рассказал, тоже вполне интеллигентная.

4

Перекур у Валентина Мочульского определенно затянулся. Он все еще не спешит к своему дубу, все еще не собирается возвращаться на свое дежурное место. Вместо того он говорит Васе:

— Вам не кажется, молодой человек, что мы давно не играли в «шубу»?

— В «шубу» мы давно не играли,— соглашается Вася.

— Боря,— говорит Мочульский Пронину,— не составишь нам компанию?

Пронин вспоминает вдруг, что он командир отделения и сейчас здесь за старшего, и смотрит на свои новенькие часики, которые он, по его собственным словам, приобрел под Минском, у захваченного им в плен фрица.

— Тебе до какого часа дежурить? — спрашивает он у Валентина.

— До тринадцати ноль-ноль.

— А на моих еще двенадцати нет,— говорит Пронин.

— Ваш намек понял,— соглашается Валентин.— Сыграем одну партию, и пойду. Пока нет старшего лейтенанта. Юноша играет в «шубу»? — спрашивает он Сережу.

— Конечно, играю,— говорит Сережа.— Я еще на «гражданке» научился. Я все могу.

— Смело сказано,— одобряет Мочульский.— Пойду за картами.

Как только Мочульский исчезает, Сережа не удерживается от проявления восторга:

— Никого он не боится!

— Ты это о Вале? — спрашивает Боря Пронин.— Да. Бесстрашный он. Кто в штрафном побывал — все бесстрашные.

— А за что он туда попал?

— С лейтенантом подрался. Своим прямым начальником. Говорит, недостаточно вежливо тот с ним разговаривал. Недостаточно интеллигентно. Славный он парень,— продолжает Боря Пронин.— Компанейский. Веселый. Его Феша почему-то Дорианом Греем назы-

вает. За то, что красивый он, наверное. Феша — это наш санинструктор. Тоже славная деваха. Она у нас больше всех начитанная. Ты-то, Сережа, знаешь, кто такой Дориан Грей?

— Слышал,— говорит Сережа.— Что-то из английской литературы. Но точно не помню. Не знаю.

— Неудивительно. Этого Грея не знает даже Василий Иванович. Только Феша знает. Да сам Валентин. Валентин тоже начитанный. Он родом из Ленинграда. Но и во многих других городах побывал. Только вот в Тамбове не был. Чего Василий Иванович не может ему простить. Когда разозлится на Валентина, обязательно его спросит: «А ты в Тамбове был?»

— А кем Валентин работал до войны? — спрашивает Сережа.

— Музыкантом, кажется,— отвечает Боря Пронин.— А может быть, художником-оформителем. А может, и тем и другим. Точно не знаю.

В этот момент появляется Мочульский. В руках у него колода карт с нерусскими королями и валетами, с нерусскими дамами. Колода совсем новенькая. Трофейная. Валентин шелестит колодой, колода призывно похрустывает.

Боря Пронин, чтобы успокоить свою совесть, предупреждает:

— Только, чур, ребята, не терять бдительности. Как появится Горбунов, карты в карман. А ты, Валентин,— на дерево!

— Можете не сомневаться, Борис Петрович,— говорит Мочульский.

А Сережа опять спрашивает, задает вопросы:

— А что, старший лейтенант очень сердитый?

— Совсем он не сердитый,— отвечает Боря Пронин.

— Наш старший лейтенант, юноша,— замечает Валентин Мочульский,— строг, но справедлив. Мы жи-

нем с ним душа в душу. С ним не очень ладит только мой друг Вася Богачев.

Вася бросает на Валентина быстрый и острый взгляд.

— Я тебя просил, Валя.

Мочульский явно не хочет прислушаться к просьбам друга. Он растасовывает карты и продолжает свое:

— У них, юноша, какие-то личные счета.

— Валя,— спрашивает Мочульского Сережа,— вы это серьезно говорите или шутите? Я никак вас не пойму.

— Я, молодой человек, не любитель шутить. Даже с женщинами. Я человек положительный и весьма серьезный.

— Ну, положим, с женщинами-то ты не очень серьезный,— возражает Боря Пронин.

— Вы так думаете, Борис Петрович? Женщины на этот счет другого мнения.

Снова не выдерживает Вася:

— Ты бы лучше не зевал, бабий профессор. Твой ход.

— То, что мой ход, я сам знаю,— возражает Мочульский.— Но я требую к себе вежливого обращения. Что это за выражение такое? «Бабий профессор»? Прошу выбирать слова. И прошу на меня не обижаться. Хотя вы и друг мой, но, как говорит пословица, истина мне дороже. Я люблю говорить правду, я хочу, чтобы наш новичок Сережа знал всю правду.— И обратившись своим совсем не серьезным лицом к Сереже, Валентин продолжает: — Вы знаете, Сережа, почему Вася называет меня «бабьим профессором»? Он просто мне завидует. Он завидует моему колоссальному успеху у женщин. Не буду скрывать от вас: женщины меня действительно обожают.

— По этому поводу, Сережа,— говорит Боря,— Валя расскажет тебе какую-нибудь историю.

— И расскажу,— подтверждает Мочульский.— Обязательно расскажу новому юному другу.

— И не одну может рассказать. Много. Из своей собственной биографии,— говорит Боря.

Валентин Мочульский и в самом деле принимается за рассказ.

— Слушай, Сережа. История моя правдивая и весьма поучительная. В прошлом году было дело. А может быть, и в позапрошлом. Ехал я из города Орджоникидзе в город Майкоп. В Орджоникидзе в госпитале лежал. Излечивался от боевых ран. В Майкопе запасной полк находился. Туда меня из госпитала направили. Вот, значит, еду. На станции Прохладная пересадка. Поезда моего ждать нужно. И долго ждать. Зашел я, значит, на станции Прохладная в привокзальный буфет. Вдруг вижу — женщина. Сразу видно — вежливая. Буфетчица. Смотрю на нее и думаю: надо бы познакомиться. Познакомился.

Вася перебивает Валентина:

— Не зевай! Твой ход.

— Иду по козырям! — говорит Валентин.

— Ну а дальше что было? — нетерпеливо спрашивает Сережа.

— Что дальше? — продолжает рассказывать Валентин. — Устроил я на две ночи перекур себе. На третий день почувствовал: хватит. Отчаливать надо. Военский долг зовет. Поцеловал я руку у женщины и сказал: «Прощай, Шурочка. Крепко полюбил я тебя. От всего моего сердца. Но ничего не поделаешь». А она мне на это сказала: «Валя, но ведь это наша первая и последняя встреча». — «Не буду обманывать, Шурочка», — ответил я ей. — К сожалению, это правда. Но кто в этом виноват? Виноват в этом тот период Отечественной войны, который мы сейчас переживаем».

Кажется, в этот день Сереже выпала судьба без конца восхищаться.

— Здóрово! — восклицает он. — Красиво ты, Валентин, умеешь выражаться!

— Ну, это ты немножко преувеличиваешь, — решил быть скромным Валентин. — Но в общем-то красиво я говорить умею. Без этого с женщинами, как говорится, пустой номер. Красивое, интеллигентное слово, юноша, многого стоит. Вот Вася никак не хочет этого понять!

Почувствовав, что разговор уклоняется в опасную сторону, Боря Пронин замечает:

— Что-то старшего лейтенанта нет. Обещал вернуться к одиннадцати, а сейчас уже за полдень. Не привезет ли он нам новостей?

Мочульский не понял или не захотел понять Пронина. Он ведет разговор по самой тонкой ниточке, намеренно рискованно, получая удовольствие от этой рискованности.

— О старшем лейтенанте, Борис Петрович, — говорит он, — не беспокойся. Он не скучает. С ним наша милая Фешенька.

Боря Пронин не на шутку сердится.

— Замолчи, Валентин. И не трогай Фешу. Фешу я в обиду не дам. Она хорошая деваха. Наша. Сибирячка.

— А я и не говорю, что плохая, — возражает Мочульский. — Она сибирячка, и старший лейтенант сибиряк. Они оба хорошие.

Тут на беду вмешивается Сережа. Он молод, неопытен, он не понимает, что в этот разговор ему вмешиваться не нужно.

— Кажется, я уже видел Фешу, — говорит он. — В штабе полка. У нее глаза очень славные. Голубые, светлые такие. И очень женские. Приятно, когда на тебя женскими глазами смотрят. Неужели между нею и старшим лейтенантом что-то есть? Она молодая. А старший лейтенант старый.

— Дурак ты, Сережа,— говорит Боря. И с опаскою смотрит на Васю.

Вася молчит. Ни на кого не смотрит.

— Юноша,— говорит Мочульский, обращаясь к Сереже,— я не сказал, что между Фешей и старшим лейтенантом что-то есть. Есть или нет — этого я знать не могу.

— Мне показалось,— не унимается Сережа,— что старшему лейтенанту уже за тридцать. Лет тридцать пять или тридцать шесть...

Вася не выдерживает. Отбрасывает в сторону карты. Он весь пунцовый. Волнуясь, говорит Валентину:

— Слушай, бабий профессор. Ты все знаешь. Ты рассуждать умеешь. Ответь мне на один вопрос. Только серьезно. Без дураков. Как ты считаешь — это хорошо, что бабы воюют? Для пользы дела — хорошо?

— Ого, молодой человек,— замечает Мочульский.— Видно, у вас эти бабы в самой печенке сидят.

— Сидят,— соглашается Вася.— Еще как сидят. Я вот, когда в прошлом году в госпитале лежал, с одним раненым майором познакомился. Кавалеристом. Душевный был человек. Мудрый. Он мне рассказывал, что, как свой кавалерийский полк принял под командование, первым делом всех девок-санструкторов разогнал. Заменял их мужиками. Простыми санитарями. Пусть, говорит, без высокого образования медицинского, зато дух мужской. Так, говорит, лучше, спокойнее. На него за это жалобу в политотдел армии написали. Вызвали туда. Разнос учинили. А он на своем стоит. Делайте, говорит, что хотите, а вместе с бабами воевать не буду. Они мне весь офицерский состав небоеспособным сделают.

— Почему только офицерский? — спрашивает Сережа.

— Это уж не моя забота. Как сказал, так и сказал.

— А ему что на это ответили?

— Выругали, само собой. Партбилет грозились отнять. Но только грозились. Не отняли. И оставили все так, как он сделал. Наверное, про себя подумали, что правильно он поступил. Для пользы дела. Вслух это сказать нельзя, а про себя подумать можно.

— Значит, своего все-таки добился! Молодец, майор! — одобряет Сережа не по убеждению, а просто потому, что кавалерийский майор нравится Васе.

— Не наша, молодой человек, идеология, — не одобряет — осуждает Мочульский. — Ваши мысли, юноша, с душком. Как и поведение вашего майора. Воспитанные и интеллигентные люди так поступать не должны. Я всегда вам говорил, что по части женщин и баб вам следует учиться у меня.

5

Раньше, чем старший лейтенант, вернулась на наш наблюдательный пункт Феша. Ребята продолжали еще играть в карты.

— Привет, ребятушки, — сказала Феша и заулыбалась. Она улыбалась очень приятно, широко, всем лицом.

Была она невысокого роста, складная, чуть полная. Ее светлые русые волосы были увязаны сзади в пучок. Признаться, не один Вася, но и я был влюблен в нее. Но только никому об этом не говорил. Да меня бы и не поняли. Право быть влюбленным в Фешу признавалось только за Васей.

Очень она была мила — наша Феша. И главное, она была женщина. Единственная женщина, которую мы видели близко, ввявь, рядом с собой.

В ответ на Фешино приветствие Мочульский произнес:

— Категорически приветствую вас, наш славный

доктор! Мы вас ждали, мы о вас вспоминали, и мы рады, что вы пришли.

— Как вы тут без меня живете? — спрашивает Феша.

— Неважно живем, некультурно, — отвечает Мочульский.

— Это почему так?

— Скучно. Нет никакого интеллигентного обслуживания. Кино не показывают. Знаменитые московские и всесоюзные артисты не приезжают. Танцами заниматься тоже не приходится. Кавалеры есть, а дамы, как говорится, в отсутствии. По этой причине у некоторых военных портится характер. Вот, например, у Васи. Наш друг Вася совсем захандрил.

— Это правда, Вася?

Вася не смотрит на Фешу. Не отвечает ей. Вместо ответа он хлестко бросает картой и без всякой торжественности, мрачно объявляет:

— Еще одна «шуба» тебе, Валентин Иванович.

— Вот видишь, Фешенька, — замечает на это Мочульский, — молодой человек отыгрывается на мне. Если бы у него было хорошее настроение, он не поступил бы со мною так жестоко.

— Он со мной даже не хочет разговаривать, — говорит Феша.

— Наш друг, как я понимаю, за что-то на вас сердится.

— Сердится? На меня? Разве на меня можно сердиться?

В действительности Феша не совсем уверена, что на нее нельзя сердиться. Именно поэтому она спешит изменить тему разговора.

— И не надоело вам, ребята? — спрашивает она.

— Что надоело? — откликается Боря Пронин.

— В карты играть. Нашли занятие! Придет старший лейтенант, опять ругаться будет.

Этого не может выдержать Вася. Он чуть не вскакивает, он взрывается:

— Нас старшим лейтенантом нечего пугать. Мы народ пуганный. Если нужно, и сами кого угодно напугаем.

— Что с тобой, Вася? — искренне огорчается Феша. — Я вовсе и не собиралась вас пугать. Я ведь это так сказала. Для вашей же пользы. И нечего лезть в бутылку.

— Свою пользу мы сами хорошо понимаем, — не унимается Вася. — Не маленькие. Обойдемся и без советчиков.

— У тебя что-нибудь случилось? — мягко, очень мягко спрашивает Феша. — Почему ты так со мной? Почему ты на меня сердишься, Вася?

— Его муха не та укусила, — вставляет слово Сережа. И снова не очень удачно.

— Ты не лезь, детка, — тут же поправляет его Мокульский. — Как говорится, разберутся без сопливых. Тебе этого, деточка, не дано еще понимать.

Феша продолжает допытываться у Васи:

— Вася, милый, скажи, чем же я тебя обидела? Почему ты в последнее время стал таким злым, придирчивым? Почему ты к каждому моему слову цепляешься?

— Не по тому адресу обращаешься, — говорит Вася. — Это старший лейтенант к тебе цепляется, а не я.

Феша поняла. И смутилась. Густая краска покрыла ее лицо.

— Дурачок! Ты сам не знаешь, что говоришь. Как ты только мог! Вот придет старший лейтенант, я ему расскажу.

— Ничего удивительного, — замечает Вася. — Жаловаться — это вы умеете. Ваш пол на это только и способен.

Тут-то как раз — легок на помине — и появляется старший лейтенант. Мы не сразу его заметили. Зазевались. Другое нас занимало. Заметили мы его только тогда, когда он оказался рядом с нами.

Его живые умные глаза пытливо устремились на нас. Мочульский быстро собирает карты и прячет их в карман. Старший лейтенант видит непорядок, но не кричит, говорит скорее тихо, чем громко, пытается даже шутить:

— Что тут у вас происходит, понимаешь? Шуму много, а драки нет.

— Ничего не происходит, — спешит ответить за всех Феша. — Был у нас такой разговор на отвлеченную тему. Немножко поспорили, а потом пришли к согласию.

Сказав это, Феша поворачивается и собирается куда-то идти. Старший лейтенант ее останавливает:

— Ты это, непосредственно, куда?

— По своему частному делу, — отвечает Феша.

Старший лейтенант Горбунов почему-то смущается. Он теребит, щиплет свои густые брови. То одну, то другую. Так он всегда делает, когда смущен.

— Я тебя, понимаешь, не об этом спрашиваю. Ты надолго не уходи. Обстановка, непосредственно, это самое. В любую минуту может прийти приказ.

Боря Пронин хочет полной ясности. Он спрашивает у старшего лейтенанта:

— Значит, начинается? Скоро двинемся? Приготовиться к команде «подъем»?

— Вот именно, — подтверждает Горбунов. — Приготовиться к команде и прочее. Приказ сам Мухомор привезет. — И повторяет то, что считает самым важным: — Сам командир полка, товарищ майор Мухомор. — Произнеся дважды это имя, старший лейтенант заметно преображается. Имя это производит на него магическое действие. Он делается строже. Точно

сбрасывает с себя ненужную мягкость. Повышает голос: — Требуется, товарищи, непосредственно, подтянуться. Мухомор — это вам не чай с вареньем пить. Шутить не любит! — И тут же со всею обретенною им командирской строгостью спрашивает: — Вы чем тут занимались? Опять, наверное, в карты играли?

— Так точно, товарищ старший лейтенант, — смело и прямодушно говорит Мочульский. — Был такой грех. Скрывать не будем. Одну партийку в «шубу» сыграли.

— Я вам сколько раз говорил! — хмурится густыми бровями Горбунов. — Я вас предупреждал.

— Виноваты, товарищ старший лейтенант, — просит прощения Пронин. — Больше не будем!

— «Не будем», — не принимает извинения Горбунов. — Как маленькие! Я вас, сукиных детей, еще прижму. Я вам покажу. Распустились! Думаете, если вы разведчики, то вам все можно?!

— Зачем такие слова? — говорит Пронин. — Нам даже обидно.

— Молчать, когда говорю! Ты кто, понимаешь? — продолжает свой разнос Горбунов. — Командир отделения, а как ведешь себя? Потакаешь им всем. Какой же ты, хрен, командир!

Мочульский считает своим неременным долгом выступить на защиту Пронина.

— Он командир, товарищ старший лейтенант. Он не потакал нам. Он нами командовал. Не разрешал играть в карты. Мы его не послушались.

— Я вам покажу «не послушались».

Горбунов острыми глазками своими смотрит на Мочульского, и его лицо вдруг озаряется догадкой.

— Кто сейчас, это самое, дежурит у стереотрубы?

— Я дежурю, — храбро отвечает Мочульский.

— Как же это ты дежуришь, если ты здесь? Кто тебе разрешил покинуть пост, мать твою матушку? Что ты позволяешь себе!

— Я, товарищ старший лейтенант, перекур себе устроил. Самый маленький. Не ожидал, что вы так скоро придете. Необходимо было восстановить упавшие силы.

— Три наряда вне очереди! — теперь уже кричит Горбунов. — Пронин, запиши и не забудь. Мочульскому три наряда. И никаких поблажек. Распустился, тудыкин сын!

Мочульский на все эти слова делает весело и четко под козырек и повторяет, как положено по уставу:

— Есть три наряда вне очереди. И чтобы никаких поблажек. — А потом добавляет, уже совсем не по-уставному: — Разрешите, товарищ старший лейтенант, два слова не по службе?

— Ну, — не выдерживает характера старший лейтенант.

— Жаль мне вас, товарищ Горбунов. Не умеете вы ругаться. Далеко вам до Мухомора! Физиономия у вас, простите, не та.

Горбунов ничего не может с собой поделаться. Долго строгим он быть не может. Он уже смеется.

— Что-что, — говорит он, — а ругаться я умею. В этом деле, непосредственно, образования у меня хватает. Еще как умею!

Насвистывая веселое, уходит Мочульский. Уходит к своему дубу. На свой пост.

А Сережа спрашивает старшего лейтенанта:

— Многое вы, наверное, товарищ Горбунов, повидали на своем веку?

Боря Пронин считает нужным поправить Сережу:

— Век-то у нашего старшего лейтенанта недолгий. А повидал он действительно много. Всю нашу вселенную объездил. По морям, по волнам плавал. Самого Шмидта видел. В северные морские походы с ним ходил.

— С самим Отто Юльевичем Шмидтом! — восклицает Сережа.

— Ну, — подтверждает Горбунов.

Он о Шмидте готов рассказывать. Как человек бы-
валый, он любит рассказывать.

— С самим Отто Юльевичем, — еще раз подтверждает Горбунов. — Эта самая история. Было, новичок, дело. Шмидт был, непосредственно, настоящий мужик. Самостоятельный. Уважительный. Я тогда матросом служил. Уважал Шмидт матросов. Никогда ни в чем не обидит. Мы у него, эта самая история, по молодости, с дружками спирт из каюты заимствовали. Иногда, конечно. Нечасто. А он ничего. Не выдавал матроса. Все видел и знал — а не выдавал. Умный был человек. Справедливый.

А в море его, — продолжает Горбунов, — непосредственно, никогда не укачивало. Даже когда штормило. У него только борода тряслась. Обширная у него была борода, понимаешь. Помню, это самое, на берегу уже, после окончания похода, команда наша его качать стала. Кверху подбрасывать. А он ничего, смеется, говорит нам: «Вы только бороду пожалейте, пожалуйте. Будьте поосторожнее!»

— Здрово! — в который раз повторяет свое любимое словечко Сережа.

Старший лейтенант Горбунов вдруг резко обрывает свой рассказ. Достает из полевой сумки карту местности. Разглядывает. Что-то на ней отмечает.

Устанавливается на некоторое время тишина. Уходит в землянку Пронин и вскоре возвращается оттуда с шахматами. Приглашает играть Васю. Вместе они расставляют на доске фигуры. Делают первые ходы.

— Легкий, как сон, шах, — говорит Боря.

— Телега — вещь понятная, — спокойно возражает Вася.

Возвратилась Феша. Встала возле играющих. В шахматы Феша играть не умеет. Но смотрит с интересом. Ей хочется на них смотреть.

— Ты все еще на меня сердишься? — спрашивает Феша Васю.

— Что мне на тебя сердиться? — говорит Вася и решительно, на два поля, двигает своей пешкой. — Ты сама по себе, а я сам по себе.

— Спел бы что-нибудь. Люблю, когда ты поешь. Давно не слышала твоих песен.

— Нет настроения, — возражает Вася и тут же, не прерывая игры, обращается к Боре: — У тебя, Боря, листка чистой бумаги нету? Дашь мне потом? Письмо матери нужно написать. Не помню, когда и писал.

— У тебя, наверное, хорошая мать, — говорит Феша. — Знаю, что хорошая. Добрая. На тебя похожая.

Вася и слышит и не слышит. Говорит, обращаясь не к Феше, а к Боре:

— Должно быть, больше двух месяцев ей не писал. Беспокоится, не иначе. Может, и в живых меня не чает. Тяжело ей. Одиноко. Вдвоем с сестрой моей остались. Старшая сестра. Я ее нянькою Катькою зову. Выходила она меня маленького. Отца давно в живых нету. И меня вот теперь нет. Что они одни, женщины, могут! Ни крыши починить! Ни с лошадьми управиться — огород вспахать! Жаль мне их. Особенно мать. Как провожала меня на войну, чудно так наказывала: «Береги себя. Одевайся потеплее!»

Старший лейтенант Горбунов прячет свою карту и обращается к Сереже:

— Ну как, новичок? Тебя ведь Серегой звать? Как тебе у нас, Серега?

— Порядок, — отвечает Сережа.

— Ребятки у нас неплохие, — продолжает Горбунов. — По-всякому, непосредственно, бывает, но ребята brave, дружные. А ты уже, наверное, в бой рвешься?

— Еще бы! — подтверждает Сережа. — Очень даже рвусь. Я для того и на войну ушел, чтобы с врагами биться. К этим гадам у меня ох какая ненависть!

— Это, непосредственно, так и должно быть, — одобряет Горбунов.

— Они у меня отца расстреляли, — поясняет Сережа. — Он уже старый был. Еще старше, чем вы, товарищ старший лейтенант. Когда немцы подходили, эвакуироваться не успел. И мы с ним остались. Он при немцах бухгалтером работал. Это потом мы узнали, что он с партизанами связь держал. На работе он задерживался часто. А однажды насовсем задержался. Не дождался мы его. Наутро другого дня сообщили нам, что немцы его к стенке поставили... Я им, сволочам, никогда этого не прощу, — продолжает Сережа. — Мстить им буду. Убивать их буду. Они еще у меня узнают.

— Правильно, — говорит старший лейтенант. — Ты им еще покажешь. У тебя все впереди. И бить немцев будешь. И гнать их будешь. А может так случиться, что и самому чуток отступить придется.

— Нет, товарищ старший лейтенант, — возражает Сережа. — Я отступать не буду. Мне бегать от немцев нельзя. Не для того я пошел добровольцем. Мне ведь, если правду сказать, еще и восемнадцати нет. Едва удалось уговорить военкома.

— Говоришь, еще восемнадцати нет? — замечает Горбунов. — Это хорошо. Молодым быть, понимаешь, хорошо.

Горбунов делает паузу. Потом спрашивает Сережу:

— Ты сам откуда будешь?

— Калининский я. Нас еще в сорок втором освободили. Мне тогда пятнадцать лет было. Долго ждать пришлось, чтобы в армию взяли.

— Калининский — это тоже неплохо, — говорит старший лейтенант. — У меня дружок был калинин-

ский. Убили его в прошлом году. Под Смоленском. Славный был мужчина. Богачев,— неожиданно обращается старший лейтенант к Васе.— Ты ведь тоже, непосредственно, калининский?

— Я тульский,— говорит Вася.

— Значит, ошибся я, эта самая история,— сильно смущается старший лейтенант.— Думал, что и ты калининский. Совсем, понимаешь, память стала дырявой.

6

Откуда-то из далеких или недалеких краев вернулся Василий Иванович. Вещмешок его пуст, но вид у него совсем не смущенный, как всегда вальяжный. Два боевых ордена и медали, по обыкновению, тренькают, позванивают на его маскировочном костюме.

— Ба! — восклицает Боря Пронин.— Кого я вижу! Кому радуюсь! Какое неожиданное и приятное явление! Ну, что слышно в Тамбове?

Василий Иванович сперва отмахивается левой рукой от Бориса, затем правой рукой отдает честь Горбунову.

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. У меня важное известие.

— Так и не разжился поесть-пожрать? — спешит задать вопрос Василию Ивановичу Боря Пронин.

— Какие у тебя известия, Кузнецов? — спрашивает Горбунов.

Василий Иванович отвечает сразу на все вопросы:

— Не тот теперь момент. Не до жратвы сейчас. Мухомор к нам едет.

Горбунов вскакивает со своего пенька. Безотчетно оправляет гимнастерку. Трогает рукой свои брови — то одну, то другую.

— Сам видел?

— И видел, и слышал. Ошибиться невозможно. Га-

лопом прет. Направо и налево покрикивает, раздает приказания, плеткой своей помахивает. А сзади на рысках Крендель его.

— Эта самая история,— волнуется старший лейтенант.— Привести все в порядок. Заправиться и прочее. Ты прекрати, Пронин, чего во весь рот разулыбился! Распустились, понимаешь!

Еще не видно майора Мухомора, а уже слышен его неповторимо пронзительный голос:

— Крендель! Крендель! Мать твою... Где ты там пропал! Дрыхнешь все?

— Никак нет! Боец Бублик не дрыхнет. Он вслед за вами скачет,— отвечает голосу майора другой голос, не столь пронзительный, но тоже бравый. Это голос ординарца майора Мухомора Гриши Бублика.

— Бублик? — удивляется Мухомор, уже появившийся в поле нашего зрения.— Не Крендель, значит? Ну, нехай будет Бублик. Держи коня. И жди меня на этом месте.

Майор лихо спрыгивает со своего вороного красавца и, не спеша, слегка раскачиваясь, походкой заправского кавалериста подходит к дереву, на котором установлена стереотруба. Задрав вверх голову, он зычно вопрошает:

— Кто там за наблюдателя? Отзовись!

— Боец Мочульский за наблюдателя,— отзывается Мочульский.

— А, это ты, брат. Здоровеньки булы! Рад слышать молодца. Доложи, что видишь!

— Может, товарищ майор, сами подниметесь? Виды здесь отменные. И лестница, можно сказать, парадная. Чуть-чуть только поскрипывает.

— Отставить шуточки! — громко, но беззлобно кричит майор Мухомор.— Докладывай, что видишь.

— Немецкие траншеи вижу. Около берега. А немцев в настоящий момент не вижу. Влево — минометы.

Шесть штук насчитал. И четыре орудия поблизости от минометов. А еще белые домики вижу. Довольно-таки красивые. Аккуратные.

— Скоро ты их еще ближе увидишь,— обещает Мочульскому майор Мухомор и бросает на прощание: — Желаю удачи, орел!

От дерева, где сидит Мочульский, Мухомор направляется к нам.

Глядя на Мухомора, даже если не захочешь, залюбуешься. Высокий, не очень, но в самый раз. Стройный и тонкий, как молодое деревце. Изысканно щеголеватый. На нем новенькая артиллерийская фуражка, какую носят не фронтовики, а штабные. Но ему она придает еще более лихой, боевой вид. В руках у него хлыст, с которым он никогда не расстается. Он идет и помахивает хлыстом, точно играет им.

Старший лейтенант Горбунов подбегает к Мухомору, приветствует и докладывает. Докладывая, Горбунов старается походить на Мухомора. Куда ему — хоть он и очень старается!

Мухомор, выслушав Горбунова, протягивает ему руку:

— Здравствуй, Алексей Никитич! Рад тебя видеть.

Потом Мухомор здоровается с нами. Для нас у него особенный голос. Тонкий и пронзительный. Под Суворова.

— Здорово, молодцы мои! Здравствуйте, герои!

— Здравия желаем, ты мы...— отвечаем мы, стараясь, чтобы это было в один голос.

Майор Мухомор подходит поочередно ко всем, каждого в отдельности приветствует. Для каждого он отыскивает особое слово. Мы знаем — так он не со всеми. Только с разведчиками. С разведчиками это у него как обязательный ритуал.

Бросив быстрый взгляд на шахматистов, он спрашивает:

— Ну, кто тут у вас Капабланка, а кто Алехин?

— Алехин — Вася, а Капабланка — это я, — скромно признается Боря Пронин.

— Кто же из вас выигрывает?

— К сожалению, Капабланка чаще, чем Алехин, — с еще пушей скромностью отвечает Пронин.

На Фешу Мухомор сразу же бросил свой взгляд. Теперь, когда он к ней подходит, лицо его тонко растягивается в улыбке. Он улыбается больше всего зубами. Они у него ровной полоской, белые, как сахар.

— Здравствуй, племянница, — говорит он. — Как живешь, моя милая?

— Хорошо живу, — говорит Феша. — Живу, не тужу.

— Не обижают тебя мужики? Если что — прямо ко мне. Я их живо приведу в порядок.

— У меня мужики хорошие. Из всех самые хорошие. Разве вы сами не видите? Мне грех на них жаловаться.

— А ты как живешь, дружок? — спрашивает Мухомор Васю.

— Лучше всех, — отвечает Вася.

— Гитару свою не забываешь?

— Забываю помаленьку.

— Ну и напрасно. За это не хвалю. Как «сабантуй» закончится, специально к вам приеду. Тебя послушать. Так это и знай.

Мухомор берет Горбунова под руку и отводит его в сторону. Они долго шепчутся. Точнее, шепчет, старается говорить шепотом Мухомор, а Горбунов слушает. Иногда, впрочем, он и сам произносит слова: «Так точно!», «Будет выполнено!»

Внезапно Мухомор поворачивается к нам. Смотрит на нас пронизывающим взглядом, оглядывает нас. Тут же весь вытягивается и резким, почти до писка резким голосом командует:

— Встать! Слушай мой приказ! Сегодня, ровно в двадцать четыре ноль-ноль, переправляетесь на другой берег Немана. Ваша задача — занять белые домики. В белых домиках развернуть энпэ. Будете корректировать огонь наших батарей. Помните: одновременно с вами идет пехота. Следом за вами пойдут танки. Завтра — начало общего наступления. Я на вас надеюсь, молодцы мои, герои!

Мухомор сказал все. Он сделал свое дело и доволен. Лихо козыряет нам, поворачивается на каблучках своих тонкокожих новеньких хромовых сапог, кричит:

— Крендель! Крендель! Бублик, черт тебя подери! Коня!

Майор вскакивает на коня, которого уже подвел ему его верный Гриша Бублик. Мы слышим дробный и частый, постепенно затухающий стук лошадиных копыт.

Мы молчим. Поглядеть на нас со стороны — мы изображаем собою классическую сцену «народ безмолвствует». Наконец Вася Богачев нарушает молчание:

— Так я матери и не написал письмо. Когда теперь придется?

7

Переправиться через водный рубеж — это и трудно и опасно. Недаром на войне за переправу проводилось массовое награждение. За форсирование Волги! За форсирование Днепра!

У Твардовского в его великой поэме «Василий Теркин» есть особая глава, которую он так и назвал — «Переправа». Это одна из самых сильных и трагических глав поэмы.

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,

Кому темная вода,—
Ни приметы, ни следа.

Удивительные стихи! Всегда помню их и не забуду. Я за войну участвовал во многих переправах. Сними у меня связаны свои сложности и свой риск. Дело в том, что я не умел плавать. Так уж случилось. Но я никому в этом не признавался. В детстве не признавался близким. На войне — начальству и товарищам. Стыдился. Из самолюбия не признавался.

Вот и получилось так, что мне приходилось переправляться через большие и малые реки наравне с моими товарищами. Хотя они умели плавать, а я нет. Я должен был делать при этом то же, что они. Как же я остался жив? Просто судьба была милостива ко мне. Она явила для меня чудо. Подарила мне жизнь.

В первый раз я участвовал в большой переправе через Дон в ноябре сорок первого года. Немцы с ходу взяли Ростов, а через несколько дней после этого мы должны были его отбить. Был такой приказ. Я наступал на Ростов в составе 54-й танковой бригады. Чтобы взять Ростов, нужно было переправиться через Дон. Наши танки шли по деревянному шаткому мосту, в срочном порядке наведенному саперами. Большой постоянный мост, соединявший Ростов с окрестностями, был при отступлении взорван.

Уже в самом начале переправы головной танк нашей колонны пробил временный мост и ушел в воду. Колонна повернула назад. Ростов мы брали в обход, через станицу Аксай. Там было все проще и безопаснее.

В августе 1942 года, отступая из Майкопа, я должен был переправляться через реку Белую. Нас было семнадцать человек, уходивших из Майкопа последними. На берегу Белой уже стояли немецкие танки. Восемь танков. Мы уходили под утро, начинало уже светать. Река Белая оказалась очень беспокойной,

бурливой, но, к счастью, не слишком глубокой. Мы переходили через нее пешком, не вплавь, взявшись за руки по три-четыре человека, чтобы вода не снесла нас. Вода доходила до подбородка. Мы шли, а вслед нам стреляли из танковых пулеметов. Стреляли не прицельным огнем, а наугад. И какой-то веселый немец — тогда еще они были веселыми — кричал нам на ломаном русском языке: «Рус, рус, куда бежишь, там Турция!» Мы вышли на другой берег без потерь, все семнадцать, никто из нас не был даже ранен.

Полмесяца спустя, под Мокапсе, пришлось еще раз преодолевать водную преграду. По дорогам отступления, выходя из окружения, мы обзавелись лошадьми и переправлялись через реку на лошадях. Река была не только бурной, как все горные речки, но и глубокой. Переправляться нужно было быстро, немцы преследовали нас, буквально дышали в спину. Времени на раздумье не было. В нашем конном строю я был первым — и первым направил свою лошадь в воду.

Берег был крутой, слишком крутой для переправы. Моя лошадь споткнулась о береговые камни и полетела в водные глубины. Полетел и я вместе с ней. Видимо, я крепко держался за лошадь, а лошадь оказалась сильной и выносливой. Через какое-то время, очень короткое, лошадь выплыла на поверхность реки, и я выплыл — верхом на ней. Подо мною вместо седла была плотная военная куртка. Пока мы с лошадью были под водой, куртка каким-то образом выскользнула из-под меня. Теперь она плыла по реке, чуть-чуть в стороне от нас. Все это было почти неправдоподобно, в самом деле похоже на чудо. Вот тогда мне и пришло в голову, что судьба милует меня.

После того я еще участвовал в форсировании Волги подо Ржевом, в переправе через Днепр под Могилевом. А теперь вот мне предстояло переправиться через Неман.

На берег Немана мы вышли около десяти часов вечера. Отнесли туда две лодки, заранее нами подобранные. Лодки были рыбацьи, большие и пузатые.

Вечер быстро шел на уклон. Появившиеся на западной стороне неба тучи втягивали в себя солнце. На реке, на узкой полосе реки, плескались, играли светом последние солнечные лучи.

Ждать нам осталось совсем недолго.

Ровно в двадцать четыре ноль-ноль, в назначенный срок, мы отправились в путь. На одной лодке расположились старший лейтенант, Феша, Мочульский и Вася. На другой — Боря Пронин, Сережа, Василий Иванович и я. Плыли мы медленно. Грести приходилось против течения. Гребли в четыре руки, в очередь. Полпути мы прошли спокойно. Было не только темно, но и туманно.

Однако, когда мы доплыли до середины реки, немцы забеспокоились. Может быть, они нас увидели. Начался с их стороны артиллерийский и минометный обстрел. Снаряды и мины ухали в воду то далеко от нас, то ближе, поднимая вверх маленькие и большие водяные фонтаны. Чем дальше мы плыли, тем больше было таких мин и снарядов, которые падали совсем близко.

Тут и погода переменялась к худшему. Ночное небо из темного стало почти светлым. Ушли тучи, и в самой середине неба ярко обозначилась луна. Круглая, полная, густо-желтая.

Вражеский обстрел усилился. Одна мина почти попала в лодку, в которой находились командир с Фешей и Вася с Мочульским. Прямо она не попала, но упала рядом и подняла такую волну, что лодка опрокинулась. Мы сразу же повернули в ту сторону, пошли на помощь. Но помощь наша не понадобилась. Мы еще не дошли до того места, где в волнах качалась

опрокинутая лодка, а те, кто сидел в ней, уже при-ближались вплавь к берегу.

Скоро все мы оказались на берегу. И мы сразу же — казалось, очень близко — увидели белые домики. Очень красивыми мы их увидели. В лунном свете — не просто белыми, а молочными, матовыми, и резные колонны домиков — длинные, серебряные, с серебристо-зелеными продольными полосами.

В действительности белые домики были не так уж близко. Нам еще предстояло добраться до них. Но нам никто не мешал добраться. На берегу в нас не стреляли. Наша переправа в общем оказалась удачной, и все нам поначалу благоприятствовало.

8

Белых домиков было всего два. Один ближе к берегу, другой чуть подальше. Мы расположились в ближнем.

Дом оказался большим, просторным, даже нарядным — в два этажа. На первом этаже — комната, вроде гостиной. В ней кафельная печь, по-видимому давно не действовавшая. А может быть, она и поставлена была так, для красоты.

Посередине комнаты стоит стол, широкий и длинный. У стен — диван, оттоманка, мягкие и удобные. У стен же — книжные и платяные шкафы и буфет с посудой. В посудном шкафу все самого высокого качества: фарфор и хрусталь. И все это цело, не разбито. Все это в сохранности.

С первого этажа на второй ведет деревянная, прочного дерева, лестница. По этой лестнице Боря Пронин уже унес стереотрубу, чтобы установить ее в узеньком цветного стекла окошке. У этого окошка Пронин и остается. Остается дежурить и наблюдать.

Все остальные — в нижней комнате. Мы промокли

насквозь и еще не успели обсушиться. Совсем не заботится о том, чтобы обсушиться, старший лейтенант Горбунов. Чем он озабочен, так это своей картой. Он сидит над ней за столом и что-то чертит, что-то обдумывает. Минутами, впрочем, кажется, что он вовсе и не обдумывает. Лицо у него очень усталое. Постепенно, совершенно очевидно для нас он впадает в дремоту. Он то опускается головой на стол, на карту, то вдруг сильно вздрагивает, дергает головой и тут же снова засыпает.

В это время Феша скручивает пальцами, выжимает свои волосы. Волосы у нее спадают длинными косицами и почти закрывают лицо. Мочульский спешит сделать ей комплимент, порадовать ее своим словом:

— Вы как настоящая ундина, доктор! Как прелестная русалка!

— Замерзла я, — отвечает ему Феша. — Зуб на зуб не попадает.

— Ничего, — говорит Мочульский. — Зато чистенькая и вымытая. И полная антисептика. Теперь бы еще, ради той же антисептики, спиртиком раздобыться!

— Очень уж холодно, — говорит Феша.

— Я бы сказал, да, боюсь, заругаешь.

— Если боишься, лучше не говори, — замечает Феша.

— Поговорю лучше с вами, молодой человек, — говорит Мочульский, обращаясь к Васе. — Ну как? Довольны ли вы? Как вам понравилось в белых домиках?

— Понравилось, — отвечает Вася.

— Значит, скоро и войне конец?

На это Вася не говорит ничего. Молчит, вроде бы насупился, но выглядит он все-таки не таким мрачным, как накануне.

Вступает в разговор Сережа. Он давно уже хотел сказать, теперь наконец получил такую возможность.

— А я, Валя, признаться, разочарован. Не то что разочарован,— поправляется он,— но не того ожидал. Я думал, что за белые домики нам придется по-настоящему сражаться. А они нам, можно сказать, даром достались. Без боя. И сейчас вот такая тишина...

— И вас это огорчает? — спрашивает Мочульский. И добавляет: — Что ж, как любит говорить наш друг Вася, телега вещь понятная! Юноша ждет необыкновенных впечатлений. Его душа просит бури, как будто в бурях есть покой.

— Сходил бы ты лучше наверх,— говорит Сереже Вася.— Сменил бы Пронина. Тоже ведь устал человек.

— Сменить Пронина? Сей момент,— легко соглашается Сережа. Он идет к лестнице, которая ведет на второй этаж, но по дороге останавливается, оборачивается, вспоминает особенно для него важное: — А ты знаешь, Валя, необыкновенные впечатления у меня все-таки были. Ночью. Я чуть не забыл. Немецкая мина и рядом с нами упала. Как жажнет — жжик! Нас даже подбросило. Аж в пятки сердце закатилось. Но ничего. Мы все-таки удержались. А что было бы, если бы не удержались! Ведь с нами в лодке и стереотруба и рация. Вся наша боевая техника! Как бы мы без нее остались!

Высказавшись, Сережа с легкой душой поднимается по лестнице. Валентину — было бы за что зацепиться. Он развивает начатую Сережей тему.

— Подумаешь,— говорит он.— Стереотруба и рация! У нас в лодке сама Фешенька сидела. Наша милая Фешенька.

— Милый Валя,— отвечает на это Феша.— Спасибо, что спас меня. Я уже благодарила тебя и готова еще много раз благодарить. Пока жива буду, не забуду.

— Вы плохо меня поняли,— возражает Мочуль-

ский, впрочем, не скрывая удовольствия. — Настоящий кавалер не может требовать благодарности за оказанные им услуги. Избави бог! Ни боже мой! Тем более что мой друг Вася готов был сделать то же. Вы, конечно, сами это заметили, доктор?

Вася пытается остановить Валентина. Но Валентина остановить нельзя. Он продолжает свое.

— Вы видите, Фешенька, как недоволен мною юный друг! А отчего? Мой друг не может мне простить, что я его опередил. Когда вы оказались в воде и вам грозила опасность, он первым бросился за вами. Как орел. Со скоростью ракеты. Со скоростью торпедного катера. И только чистая случайность помогла мне быть быстрее.

Вася безнадежно машет рукой.

— Ты когда-нибудь перестанешь травить?

— Травить? Разве я травлю? — говорит Мочульский. — Моими устами глаголет правда. Можно Василия Ивановича спросить. Он при сем не был, но он все равно все знает.

Василий Иванович стоит, прислонившись к кафельной печке. Стоит так, будто бы греется. У холодной печи греется. Услышав свое имя, он медленно и величаво поворачивает голову, некоторое время оглядывает Мочульского, потом произносит свое коронное:

— Как насчет Тамбова, Валя?

Удивительно, но на Валю это сразу же действует.

— Ну, ладно, — говорит он. — Все понятно. Молчу, с Василием Ивановичем все равно дальше Тамбова не уедешь.

Между тем Василий Иванович отходит от печки. Он принял решение. Берет свой вещмешок, раза два встряхивает его сильным движением, направляется к выходу.

— В поход? — спрашивает Мочульский.

— Ты куда, тезка? — спрашивает Вася.

— Сам знаю куда,— твердо и вполне определенно отвечает Василий Иванович и уходит.

— Это он на промысел,— догадывается Вася.— Беспокоится все-таки насчет жратвы. Только сейчас это опасно. Фрицы кругом.

— Ничего,— говорит Мочульский.— За Василия Ивановича можно не опасаться. Он человек неистребимый.— Мочульский подходит к дивану, ложится на него. Ложится на спину, закинув руки за голову.— Хорошо! — восклицает он.— Какое прекрасное ложе! Мягкое, как пух или перина. Ах, если бы... Сказал бы... Фешенька, можно?

— Что можно? — рассеянно спрашивает Феша.

— На эдакой перине, да с нашей бы Фешенькой! Как это было бы интеллигентно.

— Дурак ты, Валя,— говорит Феша. Но видно, что она не сердится.

Она давно уже привыкла к Валиным словечкам и манерам. И она знает, что это только манеры. По-иному относится к сказанному старший лейтенант Горбунов.

Кажется, он все время подремывал. Но слова Мочульского он тем не менее усек. Он сразу же откликается на них, он говорит с укоризною:

— Смотрю я на тебя, Мочульский, и, это самое, думаю. Видный ты мужик, умный. И лицо у тебя подходящее. А вот язык, как помело, понимаешь. И откуда ты такой языкатый взялся?

— Из города Петрограда, товарищ старший лейтенант,— отвечает Мочульский.— Из города на Неве, который носит имя великого Ленина.

— Был я в Ленинграде,— замечает Горбунов.— Но таких, как ты, непосредственно, не видел.

— Значит, плохо смотрели. Зашли бы в дом Толстого на улице композитора Антона Рубинштейна — там бы увидели. Там каждый шкет и каждая бабка ме-

ня знают. Бабки не раз с хворостинами за мною гонялись.

Горбунов уже смеется.

— Значит,— говорит он сквозь смех,— и там, на улице Рубинштейна, успел показать себя!

Сонное состояние совсем покидает старшего лейтенанта. Он снова полон бодрости. Бросает взгляд в окно, смотрит на часы, встает.

— Схожу к Пронину,— объявляет он. — Нужно взглянуть: как и что. Скоро светать будет. Через полчаса приходи и ты, Мочульский. Слышишь, что говорю?

— Очень хорошо слышу,— подтверждает Мочульский. — Через полчаса буду на втором этаже как штык.

Когда Горбунов уходит, Мочульский возвращается к разговору о Василии Ивановиче.

— Порадует нас Василий Иванович или не порадует? Как вы думаете, молодой человек? — обращается Валентин к Васе. — До того есть хочется, что никакие интеллигентные разговоры на ум не идут. Как говорится в пословице, кишка кишке кукиш кажет.

— Да,— соглашается Вася.

Он тоже решил прилечь. Он улегся на оттоманке, как раз напротив Валентина, и с готовностью поддерживает начатый им разговор:

— Поесть бы неплохо. В самый бы раз. Очень есть хочется. Голова даже как будто не своя, как тисками сжимает. Это все от голода. Я вот думаю, Валя,— продолжает Вася. — Часто об этом думаю. Отчего это человек так сильно зависит от еды? Елки-моталки, весь характер человека иногда от еды зависит. Сыт человек — и характер хороший. Голоден — и злым человек становится. Вот изречение есть такое: не хлебом единым... В общем-то это правильно. Но и не совсем правильно. И это обидно. Тебе не обидно, что все мы так от еды зависим?

Вместо прямого ответа на заданный вопрос Мочульский то ли полусонно, то ли мечтательно говорит:

— Вы когда-нибудь ели чебуреки, молодой человек? Знаю, что не ели. И даже не ведаете, что это такое. Чебуреки, для вашего сведения, это прекрасное восточное кушанье. Похоже на блинчики. Только узкие. Аккуратные такие. В них много перца, но есть их очень приятно. До войны их можно было заказать в Кавказском ресторане на проспекте Двадцать пятого Октября. Когда, после окончания войны, вы окажетесь в Ленинграде и захотите посетить Кавказский ресторан, лучшим ориентиром для вас будут памятники великим русским полководцам Михаилу Кутузову и Барклаю-де-Толли. Как раз рядом с ними и находится ресторан. Вечером в ресторане царит полумрак, и в этом полумраке еще заметнее светятся глаза сидящих за столиками прекрасных женщин. А на маленькой сцене толстый смешной грузин Лева играет на своей скрипке грустные и трогательные восточные мелодии.

Вася слушает очень внимательно. Ему это необыкновенно интересно. Но в этом месте он все-таки перебивает Валентина.

— Я еще никогда не бывал в ресторане,— тихо говорит он.

— Я так и думал, молодой человек. И вот почему я полагаю, что вам еще рано умирать.

— Я и не собираюсь умирать, Валя.

— Вы просто не имеете права умирать,— замечает Валентин Мочульский. И тут же вполголоса декламирует: — «Как мало прожито, как хочется жить!»

— Чьи это стихи, доктор? — обращается Мочульский к Феше.— Ответьте мне, славная женщина. Вы ведь специалист по стихам.

— Это еще не стихи, Валя,— говорит Феша.

— Точно, доктор,— соглашается Мочульский.—

Это не стихи. Я и сам это понимаю. Я это сейчас сочинил. Не вышло. У меня всегда со стихами не выходит. Не по Сеньке шапка. Секунд этак с полтысячи мне бы сейчас поспать. Так будет лучше.

Валентин поворачивается на своем диване. Поворачивается лицом к стене. Спину к Феше и Васе. Накрывается шинелью с головой, а длинные ноги его торчат, остаются ненакрытыми.

Проходит минута, две, больше. Тихо в комнате. Как-то очень уж сразу начинает посапывать Валентин Мочульский. Феша поднимается со своего места и идет к Васе.

Она садится на оттоманку — совсем рядом с Васей, совсем близко. Кладет руку на Васину голову. Мягкими женскими руками теребит, перебирает Васины волосы.

Вася замер, весь ушел в тишину. Он даже глаза закрыл. Но он не спит. Никогда еще он не был так далек от сна, как сейчас. Он чувствует не только Фешино дыхание, но и свое дыхание, чувствует и слышит течение своей крови по жилам, течение своих смятенных дум. Наконец он произносит, почти шепотом:

— Интересная история, черт возьми!

— Какая история, Вася? — шепчет Феша.

— Интересная история получается с некоторыми военными. Дали себе слово. Взяли себя в руки. Раз и навсегда решили отрезать.

— Ты это о ком говоришь, Васек? — шепотом спрашивает Феша. — Ты кого имеешь в виду, дружочек?

Феша спрашивает так, как будто ничего не понимает. А Вася продолжает, точно ни о чем его и не спрашивали:

— А вот теперь погладили по головке, запустили мягкими пальцами в русые кудри — и обмякли выше-названные военные, забыли все свои твердые решения. Черт их чертом, очень смешно получается! Смешно. Но

ведь вот такая карусель! И приятно тоже. Очень приятно.

— Тебе сейчас хорошо, Вася?

— Хорошо. Хорошо, черт возьми! Такая сейчас тишина на душе! — Вася в первый раз с той минуты, как Феша села рядом с ним, поворачивается к ней глазами, взглядом, всем лицом и говорит с нескрываемым волнением и с особою даже торжественностью: — Ты знаешь, Феша, я давно хотел тебе сказать. Но не мог. Теперь могу. Я вот иногда задираю тебя, хорохорюсь, вскидываюсь гоголем, говорю не те слова. Ну, ты сама понимаешь. А ведь на самом деле я не такой. Не такой к тебе я. Ты веришь мне? Я очень хочу, чтобы ты мне верила. Я и сейчас говорю с тобой — и затрудняюсь словами. А так хочется все сказать! Я ведь, Феша, не только никогда, ну, как их, чебуреки в глаза не видел. Я и многого другого не видел. И любви тоже. О том, что такое настоящая любовь, я больше по книжкам знал. Да вот еще от Валентина Ивановича.

— Бедный мой мальчик, — говорит Феша и снова и снова мнет, перебирает пальцами Васины волосы.

— Нет, я не мальчик, — не соглашается Вася. — Не мальчик. Мне девятнадцать лет. И я два года воюю. И все время на передовой. Там, где опасно. Там, где убивают.

— Милый, славный, храбрый мой мальчик!

— У меня ведь и женщина была. В Туле, когда учился в техникуме. На пять лет старше меня. Я не любил ее, но относился к ней хорошо. Я ей был благодарный. Она называла меня «мой бэби». Обижался я, когда она так называла.

— Я ведь тоже старше тебя на пять лет, — замечает Феша.

— И я для тебя тоже как «бэби»?

— Нет. Совсем нет. Ты ошибаешься, мой дружок. Ты для меня не бэби. Но ведь ты и в самом деле еще

очень молодой. Славный, чистый, такой молодой мальчик. И это очень хорошо. Мне ты очень дорог. Я тебя очень люблю, Вася.

Фешино признание в любви не столько обрадовало Васю, сколько насторожило. Он говорит с придыханием в голосе:

— Феша, я давно хотел задать тебе один вопрос.

— Спрашивай, мой дружочек.

— Это правда, что говорят? Насчет старшего лейтенанта. Скажи, это правда?

— Какие глупости,— говорит Феша и густо краснеет.— Кто тебе сказал? Значит, ты из-за этого и злился? Но ты никогда больше не спрашивай меня об этом.

— Выходит, все-таки правда,— заключает Вася.

— Ну, какая тебе разница! И не нужно больше. Не нужно, Вася. Старший лейтенант — добрый, хороший человек. И у него была такая трудная жизнь.

Феша поднимается с оттоманки, отходит в сторону. Отходит подальше от Васи. У нее печальное и растерянное лицо. У нее очень расстроенное лицо.

Поднимается и Вася. По нему видно, что с этой минуты в нем совершилась важная перемена. В его глазах печаль и ясность. У него сейчас удивительные, прекрасные и мужественные глаза.

Он говорит почти спокойно:

— Спасибо тебе, Феша. Теперь мне легче. Не подумай, что я это так. Что это только слова. Мне в самом деле легче. Вот ты назвала меня «дружочек». За это тоже спасибо. Знай, теперь я тебе самый верный друг. Всегда. Во всем. А все другое — чепуха. Все другое, как говорится, пустяки, трын-трава, семечки, до свадьбы заживет. Ты не смотри на меня так, Феша!

Феша смотрит. Феша смотрит и говорит:

— Славный мой дружочек! Но не надо. Не говори так. Мне больно, когда ты так говоришь. И прости меня. Пожалуйста.

На своем диване заскрипел пружинами Валентин Мочульский. Он поворачивается, потягивается, нарочито покашливает.

— Недурно-таки поспал! — замечает он. — Голова свежая, как недозрелый арбуз. Снова готов идти на смерть и на бессмертные подвиги.

Феша не совсем натурально оживляется:

— Немного же тебе нужно, Валентин Иванович.

— Именно, что немного. Я солдат. Мне и десяти минут довольно, чтобы прийти в себя. За эти минуты я способен не только выспаться, но и приятные сны увидеть.

— Какой же ты сейчас сон видел? — спрашивает Феша.

— Поэтический. Литературный. Художественно-приключенческий. Конкретно, видел я лужайку, зеленую. Возле лужайки домики. Само собой — белые. В домиках тех, на веселом балкончике, два голубка воркуют. В любви друг другу, воркуя, признаются.

— Ты негодяй, Валентин Иванович! Ты просто негодяй, — говорит Мочульскому Феша.

Она уже успокоилась. Пришла в себя. Она обращается за поддержкой к Васе:

— Верно, Вася, что Валентин просто негодяй?

Вася вместо ответа тянется за гитарой. Он держит ее в руках, слегка тренькает струнами. Настроившись — поет:

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.
Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,

Что к ней с тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована...
Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую:
Допой же мне — договори
Ту песню недопетую...

В то время, когда Вася поет, Феша сидит за столом, подложив под голову руку. Она внимательно слушает, она вся в песне.

— Ах, как я люблю, когда Вася поет, — говорит она после того, как песня уже спета.

9

Наступило утро. Совсем уже развиднелось. Со второго этажа вниз сбегает Сережа. Он в сильном возбуждении, голос его звенит молодой радостью:

— Ой, ребята-девочки! Какую красоту я сейчас видел! Смотрю в стереотрубу, а над рекой, прямо против меня, солнце всходит. Не сразу, не все целиком, а только верхушка его. А внизу, под ним, облака. Чистые, белые, совсем как кружевца. В этих самых кружевцах солнце качается, точно в колыбельке лежит. Такого я еще никогда в жизни не видел.

— Ты поэт, Сережа, — говорит Феша.

— Совсем нет, — оправдывается Сережа. — Просто красота такая пронзительная. Никак не выдержать. От такой красоты кричать от радости хочется. Как будто и нет совсем войны.

У Мочульского эти Сережины слова вызывают философское настроение:

— Как сказал один русский классик, красота когда-нибудь спасет мир. Очень может быть, что классик был прав. Только доживем ли мы до этого? Дождемся ли?

Пока Мочульский таким образом философствует, мы дождались другого. Дождались Василия Ивановича.

Он не вошел к нам — явился. У него горделивое и торжественное лицо и полный вещмешок в руках.

— Вот и Василий Иванович, — легко перескакивает на другую тему и другой тон Валентин Мочульский. — Это, несомненно, он. Как говорит русская пословица, узнаю милого по походке.

— Попрошу меньше слов, — осаживает Мочульского Василий Иванович и бросает свой вещевой мешок на стол. — Здесь вам и за завтрак, и за обед, и за ужин.

— Я всегда говорил, — не унимается Мочульский, — что Василий Иванович — гениальный мужчина. Что вы принесли нам, гениальный человек?

— Сам гляди, — отвечает Василий Иванович. — Глаза есть — и гляди.

— Вы только посмотрите, как Василий Иванович загордился! — не удерживается и Феша.

Василий Иванович развязывает вещмешок и выкладывает оттуда продукты. Прежде всего другого сыплются из мешка просvirки. Мочульского это приводит в восторг.

— Ты что, брат, не причаститься ли перед смертью захотел? — смеется он.

— Ну, что тебе? — огрызается Василий Иванович.

— Просvirки, спрашиваю, зачем тебе понадобились? Это ведь только в церкви употребляют.

— А я почему знал? — возражает Василий Иванович. — Не я их доставал, а фриц. Я по церквам не лазаю. Я думал, что это галеты.

— А еще образованный человек, — продолжает смеяться Мочульский. — Вроде все на свете знает, а просvirки от галет отличить не может.

— Я и не отличал. Не было у меня времени отличать.

Василий Иванович вдруг, совсем неожиданно, начинает громко хохотать.

— Что это тебя так схватило, тезка? — спрашивает Вася.

— Фрица вспомнил, — радуется, хохочет Василий Иванович. — Ну и рожа у него была, когда меня увидел. Сразу вдвое по поперечнику вытянулась. Справа налево и слева направо перекосилась. Как завизжит! Я его тут, конечно, немножко пристукнул. Кляп из своего личного, персонального платка сделал и ему в рот заложил. Платок у меня, конечно, грязноватый. Вроде портянки. Но ему, гаду, ничего. Подойдет. Главное, чтобы сидел и не дышал, турок завоеванный!

А в землянке у этого турка, — продолжает рассказ Василий Иванович, — богато оказалось. Какой только тут жратвы не было! Запасливый, черт.

— Василий Иванович, — спрашивает Феша, — ты никогда ничего не боишься?

— А чего бояться?

Вошел в комнату старший лейтенант Горбунов. Увидел Василия Ивановича, еду на столе — заулыбался, стал разглаживать по привычке свои брови. На этот раз от удовольствия.

— Значит, отличился, — сказал старший лейтенант. — Молодец, эта самая история, молодец, Масленников. Проявил находчивость! Где же ты, непосредственно, все это достал?

— В немецких тылах, товарищ старший лейтенант. Вон там, в лесочке, — показывает в окно рукой Василий Иванович. — Там у фрицев землянки. Недалеко от шоссе. Там же, около шоссе, три «тигра» немецких стоят.

— «Тигра»? — сразу же по-новому заинтересовывается Горбунов. — Рядом с шоссе? У того лесочка? Это ценные сведения, понимаешь? Молодец, Масленников. Пойду свяжусь с Мухомором. Мы их сейчас огнем накроем.

Горбунов только что пришел, и вот он снова соби-

рается идти наверх. Мочульский спрашивает Горбунова:

— Так сразу и уходите? А как же, товарищ старший лейтенант, насчет того, чтобы подкрепиться и поесть?

— Ничего, понимаешь, — отвечает старший лейтенант. — Поесть никогда не поздно. Поесть всегда, непосредственно, успеем.

— Очень мне вас жаль, товарищ старший лейтенант, — говорит Мочульский. А когда Горбунов уходит, добавляет: — Ничего не поделаешь. Мы переживаем сейчас тот период Отечественной войны, когда многим военным, оказывается, не до жратвы.

Сказав так, Мочульский садится за стол. Мы все садимся за стол. Василий Иванович устроил нам настоящее пиршество. На столе перед нами, кроме провиантов, лежали завернутые в фольгу немецкие хлебцы, большие куски литовского сала, консервированная колбаса, в маленьких темных бутылках пиво, две плитки шоколада. Был и английский бекон — как только он попал к немцам?

Василий Иванович торжествовал. Он чувствовал себя хозяином этого несравненного богатства. Великодушные и благодетельные светились на его лице и выпирали из него. Плитки шоколада он протянул Феше:

— Это тебе. Питайся, доктор.

— Почему только мне? — возразила Феша. — Мы все по кусочку попробуем.

— Раз говорю, бери. Как представитель женского пола.

— Посмотрите на Василия Ивановича, — радуется и одобряет Мочульский. — Он поступает как настоящий, хорошо воспитанный кавалер.

В соответствии со своей особенной, несравненной логикой Василий Иванович на слова Мочульского отвечает вопросом:

— А ты узбеков когда-нибудь видел?

— Узбеков? — не понимает Мочульский.

— При чем здесь узбеки? — спрашивает в свою очередь Феша.

Фешу можно было понять. Она заедала английский бекон маленькими кусочками шоколада и испытывала при этом редкое наслаждение. Узбеки тут действительно были ни при чем.

Однако Василий Иванович очень хотел рассказать об узбеках и считал, что имеет на это право.

— При чем узбеки? — повторил он и тут же объяснил: — При том. Чудной они народ! Не поздороваются, как наш русский человек, не скажут «здравствуй!», вместо того говорят: «салам алейкум!», «алейкум салам!»

Сергея ест и улыбается во все лицо. Феша тоже улыбается и говорит:

— Василий Иванович, спасибо, милый. Очень вкусно. Очень-очень. А выражаешься ты, как сам Грибоедов.

— Сам знаю, — говорит Василий Иванович.

Внезапно долго стоявшая тишина обрывается грохотом, сплошным воем. Началась орудийная и минометная перестрелка. Орудия и минометы бьют из-за реки и бьют со стороны немцев. Слышны отдаленные разрывы. Один снаряд разрывается неподалеку от наших домиков.

— Кончился комфортабель, — заключает Василий Иванович. — Этот снаряд, наверное, из «тигра» послан. Из того, который я засек.

— Хорошо еще, что пехота наша рядом. И что скоро двинутся наши танки, — не совсем уверенно утешает нас и себя Феша.

В комнату входит Борис Пронин. Он замечает:

— Я на одну минутку. Заморю червячка и назад. Обстановочка накаляется. И ты, Серега, со мной пойдемь. Старший лейтенант велел.

Боря начинает с литовского сала. Он ест его с жадностью, закусывая просвирками. Не переставая есть, говорит:

— Давно не видел такого изобилия. Только вот в самом начале войны привелось попировать. Давали нам тогда продукты сразу на неделю. На тот случай, если из-за немецкой авиации обед подвезти не смогут. Давали сало, сахар, консервы. Вот мы сразу же и устраивали себе шикарный обед и ужин. Все поёдали. Думали: а что, если убьют? Нельзя же законно выданные продукты оставлять несъеденными.

Снова слышен нарастающий визг снаряда. На этот раз снаряд разрывается еще ближе. Дрожат, ломаются оконные стекла. Разлетаются во все стороны осколки.

Сережа неожиданно для самого себя оказывается на полу. Некоторое время лежит лицом вниз. Потом поднимается. Видит, что все сидят на своих местах, и очень смущен.

— Это у меня случайно,— оправдывается он.— Я не хотел. Правда.

— Мы так и подумали, что случайно,— говорит Боря Пронин. Он говорит без улыбки, с некоторым даже сочувствием.— Не смущайся, Серега! Такое со всяким бывает. Дело житейское.

— Больше это никогда не повторится,— обещает Сережа, совсем как маленький мальчик. И тут же спрашивает Пронина: — Интересно, Боря, а немцы могут нас окружить?

— Кто их знает,— отвечает Боря.— На войне всякое бывает.

Пронин уже поел. Он заворачивает в бумагу большой кусок хлеба с салом для старшего лейтенанта, говорит Сереже:

— Ну, пошли. Старший лейтенант заждался небось. А вы, ребята,— обращается он к остальным,—

мигом во двор, окопчики рыть. На случай сильного обстрела или бомбежки. Это приказ Горбунова.

Василию Ивановичу приказ этот определенно не нравится:

— На фига нам эти окопчики! Христине Христовне под хвост все это нужно!

— Пошли, тетка,— говорит Вася.— Зачем лишние слова? Все равно копать придется.

— Дураков работа любит! — продолжает ворчать Василий Иванович.

В доме на первом этаже остается одна Феша. Она сидит за столом, уперев голову в руки, задумалась, замечталась. Потом встряхивается, поднимает голову, тянется за санитарной сумкой, достает оттуда тоненькую потрепанную книжечку. Открывает ее, читает:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат.
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград...

Читает Феша с чувством, с упоением. Неожиданно появляется в дверях Мочульский. Оказывается, он забыл лопату. Но вместо того чтобы взять ее, он остановился у двери, слушает.

— Вы что это, доктор, сами с собой разговариваете?

— Я не разговариваю. Это стихи, Валя. Я стихи читаю.

— Так и подумал. Там, где наша Фешенька, там всегда стихи и изящная словесность.

— Очень хорошие стихи, Валя.

Феша продолжает читать. Но Валентину Мочульскому стихи не нравятся. Он так и заявляет Феше:

— Не по душе мне эти стихи. Не согласен я с ними.

— Что значит не согласен, Валентин Иванович?

— Так вот, не согласен. С идеей стихотворения не могу согласиться.

— Очень жаль,— искренне огорчается Феша.

— Снисходительно относится к солдату твой поэт,— продолжает Мочульский.— Простой солдат, говорит. Только и всего! А если этого солдата зовут Богачев, или Василий Иванович, или Мочульский? Какой же он простой!

— Ты как-то странно разбираешь стихи,— пытается возразить Феша.— Ты за каждое слово цепляешься.

Валентин не слышит или не хочет слышать Фешиных возражений.

— Видите ли,— говорит он,— у солдата ни званий нет, ни орденов и медалей. А ему честь какую оказали — в земной шар, понимаешь, зарыли. Гордись и радуйся, солдат. А я не хочу гордиться. Неизвестно еще, для кого тут больше чести: для солдата или для этого земного шарика! Нет, доктор, что бы вы ни говорили, а эта идея не для меня! У меня другая цена для солдата, для самого себя. Не с той стороны подошел к нашему брату ваш поэт.

— Он сам солдат,— замечает Феша.— Такой же, как и мы. Фронтовик. Танкист он.

— Значит, ему совсем непростительно. О солдате нужно говорить по-другому. Он большего заслуживает. Вот я бы сказал. Жаль только, что не умею.

— По-моему, ты просто придираешься,— говорит Феша.— Стихотворение это замечательное. Душевное. Доброе. Красивое.

— Вот именно,— подхватывает Мочульский.— Красивое. Сразу видно, Фешенька, что вы женщина. Больше всего вам требуется красивое слово. Я всегда говорил юношам: скажи женщине красивое слово — и все будет в ажуре.

Феша больше не хочет продолжать спор. Она читает стихотворение снова с самого начала:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат...

Раздается близкий, совсем близкий взрыв мины. Вбегают в комнату Вася и Василий Иванович. Они без лопат, в грязи. У Василия Ивановича на щеке кровь.

— Рассердился фриц,— говорит, докладывает Вася.— Не согласен, что мы окопчики копали. Не велит. Прямо в нас так и садит. Пришлось нам с Василием Ивановичем вернуться.

Феша на этот раз смотрит не на Васю, а на Василия Ивановича. Она заметила на его щеке кровь и на него смотрит:

— Что с тобой, Василий Иванович, ты ранен?

— Какое же это ранение! — не соглашается Василий Иванович.— Это, доктор, семечки, а не рана. Так себе, маленькая горошина попала.

В руке у Василия Ивановича эта самая горошина — маленький осколок от мины. Василий Иванович разжимает руку и показывает осколок Феше.

— Откуда ты его взял? — волнуется Феша.

— Сам знаю откуда. Только что выковырнул. Своими собственными руками.

— Этими грязными ручищами!

Тут вмешивается Мочульский. Он на стороне Феша. Он поддерживает ее на свой лад.

— Василий Иванович,— говорит он,— вы поступили неправильно. Вы нарушили все правила медицинской антисептики. Теперь, если вы погибнете, или, другими словами, умрете, вы умрете не по правилам.

— Ничего со мной не случится,— говорит Василий Иванович.

Феша марлевым шариком стирает с лица Василия Ивановича грязь и кровь. Достает палочку с йодом и смазывает ранку. Василий Иванович кричит:

— Больно, черт! Больно, доктор!

Феша не считает, что ему больно.

— Мог бы и не кричать. Разве это боль? Постыдился бы. Сейчас я сделаю тебе укол от столбняка.

Феша подходит к Василию Ивановичу с наполненным шприцем. Тот кричит еще громче, не чувствуя при этом никакого стыда:

— Убери свою иголку, доктор! Все равно я не дам-ся. Я и не таким, как ты, не давался!

— Кому же ты не давался, Василий Иванович?

— Сестрам. В госпитале. Я этих иголок всегда боялся, как черт ладана.

Феша все-таки делает укол. Она сделала укол так ловко и быстро, что Василий Иванович не успел даже своевременно вскрикнуть. Он начал кричать, когда все уже кончилось. На его лице появилось несвойственное ему выражение страдания.

Мочульский это видит, и это забавляет его.

— Вот, Фешенька,— замечает он,— вы еще интересовались, боится ли чего-нибудь Василий Иванович. Теперь вам должно быть все ясно. Василий Иванович боится медицины. И я бы сказал, панически даже боится.

Между тем Василий Иванович уже пришел в себя. Он говорит Мочульскому слова, которые он любит говорить:

— Ты в Тамбове был? Не был? Ну, тогда и не говори!

— Не могу молчать! — возражает Мочульский. — Так сказал классик, и так говорю я. Ваше поведение, дорогой Василий Иванович, поразило меня.

— Пошел к черту! — не находит других слов Василий Иванович.

— Перестаньте дурачиться, ребята,— говорит Феша. — Сейчас не время для шуток.

— Как знать, Фешенька,— говорит Валентин Мочульский. — Может быть, сейчас как раз и время.

Новый взрыв снаряда или мины так близок и так

силен, что дом наш буквально сотрясается. С потолка сыплется штукатурка. Всю комнату заполняет пороховой запах и дым. Над нами и мимо нас летят мелкие и не такие уж мелкие осколки.

Что-то в один миг бросает нас на пол. Мы залегли на полу, точно брошенные не своею, а постороннею волей. Лежим лицами вниз, не шелохнемся. Сколько пролежали — кто это может знать и сказать. Помню только, что первым Василий Иванович поднялся. Встал с пола, отряхнулся, сказал как скомандовал:

— Подъем, кореши! Хватит придуливаться!

Как раз в это время со второго этажа спускается поддерживаемый Прониным Сережа. Правый рукав его гимнастерки темно-влажный, в рваных дырках. Рука повисла, точно прилипла к телу. Сережино лицо серое и испуганное. Пронин говорит Феше:

— Принимай, доктор, первокрещеного. Ранен осколком.

— Кажется, перебит нерв,— говорит Феша, глядя на Сережину руку.— Сейчас, дружок. Потерпи.

— Если перебит нерв, значит, отвоевался,— заключает Валентин Мочульский.

А Феша уже возится с Сережей. Из санитарной сумки вынуто все необходимое: несколько склянок с йодом, с перекисью водорода, ножницы, бинты, индивидуальные пакеты. Феша осторожно разрезает Сережин рукав. Обнажается вся в кровавых сгустках рана. Рана промывается перекисью водорода, края ее смазываются йодом, накладывается тугая марлевая повязка.

Сережа смотрит, как все это делается, и молчит.

— Тебе очень больно? — спрашивает у него Феша.

Сереже больно, но ему не хочется говорить об этом.

— Ты молодец, Сережа,— говорит Феша.

— Это правда? — болезненно и благодарно улыбается Сережа.— Спасибо тебе. Мне сейчас и на са-

мом деле как будто не больно. Только во рту приторно. Как будто вкус пороха. Но это все семечки,— добавляет он, как добавил бы на его месте Василий Иванович.

— Ты ложись на диван, дружок,— советует Сереже Феша.— Так тебе будет лучше.

— Хорошо,— говорит Сережа.— Я лягу. Так мне будет лучше.

Но он стоит, даже не делая попытки лечь.

Феша сама с помощью Бори Пронина укладывает Сережу на диван. Сережа никак не может успокоиться. Он спрашивает Пронина:

— Я не показал себя трусом? Скажи, Боря. Я хорошо себя вел?

— Ты хорошо себя вел, Сережа,— отвечает Пронин.— Ты вел себя, как и подобает солдату. Ты настоящий мужик. Ты смелый.

— Это все правда, что ты говоришь? Как я благодарен тебе, Боря! Я ведь и в самом деле ничего не боялся. Честное слово. Даже и мыслей таких не было. Только накройте меня, пожалуйста. Я немножко замерз. Мне холодно.

Феша накрывает Сережу шинелью:

— Сейчас ты согреешься, милоч. И все будет хорошо.

— Все будет в ажуре, да? — слабо улыбается Сережа.

А Пронин, стараясь, чтобы не услышал Сережа, приглушая свой голос, дает указания:

— Ребята, полундра! Всем привести себя в готовность. Разобрать автоматы! Гранаты к бою! Заготовьте связки гранат.

— Что, невеселые дела, Борис Петрович? — спрашивает Мочульский.

— Да уж, веселиться не приходится. Фрицы пошли в контратаку. С танками. Много танков. Атаку-

ют нашу пехоту. Пойду к старшему лейтенанту. А вы делайте, как сказал.

Пронин уходит. Мы молча разбираем автоматы. Мы долго молчим. О чем нам говорить? Молчание наконец прерывает Вася Богачев.

— Где же наши танки? — возмущается он. — Почему их нет? Почему их всегда, когда нужно, не бывает?

— Отставить. Какие могут быть вопросы, — философски замечает на это Василий Иванович. — Может быть, закусим пока. Остались еще эти самые просвиры. — Кажется, Василий Иванович и в самом деле собрался закусывать. Взял со стола просвиру. Держит ее в руках. Но не закусывает.

— Не будем закусывать, — отвечает Вася Богачев.

— Может, тогда рассказать историю? — предлагает Василий Иванович. — О французском композиторе Георгии Бизе.

— И истории тоже не нужно, — возражает Вася.

Снова наступает долгая пауза. Уходит наверх Мочульский. Поднимает голову с дивана Сережа. Зовет к себе Фешу.

— Подай мне, пожалуйста, мой автомат. И гранаты, — просит он.

— Лежи спокойно, дружок. Обойдутся без тебя. Какой из тебя теперь вояка!

— Феша, я серьезно, — настаивает Сережа. — Не смотри, что я ранен. Я буду биться с врагом до последнего.

Появляется в дверях Горбунов. Он оглядывает всех своими маленькими воспаленными глазками и разглаживает брови:

— Эта самая история. Рацию разбило. Теперь без связи, понимаешь. Совсем никакой связи с тем берегом.

— Как же теперь будем, Алексей Никитич?— спрашивает Феша.

— Так и будем, понимаешь. Сам не знаю, как будем.

Не входит, а влетает в комнату Мочульский.

— Старший лейтенант,— докладывает он не по уставному,— три немецких танка прорвались сквозь пехотные ряды. Идут к берегу. Отрезают нас.

— А пехота? Как наша пехота?

— Никак. Держится пока. Отражает атаку вражеских автоматчиков. Там, старший лейтенант, по правде, трудно что-нибудь понять. Пыль столбом. Ничего не разглядишь.

Горбунов еще сильнее теребит свои брови. Думает, обдумывает. Как быть и что делать. Наконец он принимает решение.

— Масленников,— обращается он к Василию Ивановичу,— ты как себя чувствуешь?

Свой вопрос старший лейтенант задает больше для порядка, чем по существу. Но Василий Иванович отвечает на него со всею серьезностью:

— Никаких эксцессов, товарищ старший лейтенант.

— Так вот, Масленников,— продолжает Горбунов,— у меня к тебе серьезное дело. Опасное. Но другого выхода не вижу. Пробирайся к берегу. Соображай сам, как лучше пробраться. И на ту сторону, понимаешь. Жизнью не рискуй. Будь осторожнее. Помни: на берегу вражеские танки.

— Лишние слова, товарищ старший лейтенант,— замечает Василий Иванович.— Будет сделано.

— Будет сделано, говоришь? Это хорошо, брат. Я на тебя надеюсь. Переберешься на ту сторону, отыщи Мухомора. Доложи ему обстановку. Все ему расскажи. Понятно? Ты все понял, Василий Иванович?

— Понял, товарищ старший лейтенант. Можете не сомневаться,— говорит Василий Иванович.

И тут же собирается в путь. И уходит. С автоматом, с гранатами, с орденами и медалями — в полном боевом снаряжении.

Между тем Горбунов подсаживается на диван к Сереже.

— Вот видишь, эта самая история,— говорит он Сереже,— в какое, понимаешь, положение попали.

Сережа пытается подняться, он не забывает, что рядом с ним командир. Но Горбунов его останавливает, не разрешает подниматься.

— Ты лежи. Какая уж теперь субординация! Не до устава теперь, понимаешь.

— Я еще повоюю, товарищ старший лейтенант,— говорит Сережа.

— Повоюешь,— соглашается с ним старший лейтенант.— Это конечно. А пока, понимаешь, потерпи маленько. Отгоним немца, тогда и в санбат тебя переправим. В госпиталь тебя отвезут. А сейчас, непосредственно, ничего не поделаешь. Придется пока здесь. Без удобств. Война есть война.

— Я понимаю, товарищ старший лейтенант. Я все понимаю,— говорит Сережа.

Вбегает Пронин. При одном взгляде на него мы все догадываемся, что произошло что-то очень серьезное.

— Что случилось? — спрашивает Пронина старший лейтенант.

Пронин тяжело дышит. Он никак не справится со своим дыханием.

— На нас идут немецкие танки! — наконец произносит он.

— Танки? — переспрашивает Горбунов, хотя прекрасно все слышал и понял.

— Два «тигра»,— говорит Пронин.— Прямо на наши домики. Они уже близко.

Горбунову не нужно много времени, чтобы прийти в себя. Неестественно громким голосом, почти переходя на крик, он приказывает:

— Приготовиться отражать танковую атаку, твою мать! Занять круговую оборону! Богачев, Мочульский — с гранатами у окон. Пронин наверх, продолжать наблюдение! — И только отдав этот приказ, старший лейтенант Горбунов вспоминает о Феше. На какой-то миг смотрит на нее растерянно, с тоской и болью: как быть с ней? Что делать? Что он может для нее сделать? Но тут же берет себя в руки. Твердым голосом он приказывает Феше — таким же голосом, как всем другим приказывал: — Будешь при новичке. Отвечаешь за него. От него ни на шаг.

Вот тогда-то и подошел к Горбунову Вася Богачев. Со связкой гранат в руке он пошел не к окну, как ему приказали, а к Горбунову. Прямо посмотрел ему в глаза и сказал ему тихо и очень серьезно:

— Разрешите, товарищ старший лейтенант!

Горбунов сразу все понял. Ему ничего не нужно было объяснять. Он стал кричать на Васю:

— Не валяй дурака, понимаешь. Ишь, герой нашелся. К черту! К матери! Ко всем матерям, так-перетак!

Вася все так же серьезно и прямо смотрит на старшего лейтенанта.

— Я пойду, товарищ старший лейтенант. К танкам.

— Я сказал тебе. Выполняй мое приказание, туды и растуды!

— Иначе мы все погибнем,— говорит Вася.— И вы это сами хорошо знаете.

Горбунов больше не находит слов. Он отворачивается от Васи, нервно сжимает в кулак руку. Сжимает и разжимает.

Вася со связкой гранат и с автоматом идет к двери. Его останавливает, окликает Мочульский.

— Молодой человек, куда вы собрались идти? Разве вы не боитесь?

— Не боюсь, Валя,— отвечает Вася.

Он делает еще шаг к двери, но теперь его останавливает Феша. Она вдруг, сразу, порывом вскакивает со своего места, бежит к Васе, сильным движением поворачивает его к себе и целует в губы.

Вот так, с Фешиным поцелуем, и выходит Вася. Выходит из домика. Навстречу немецким танкам.

А следом за ним тоже со связкой гранат, никого не предупредая, выходит и «бабий профессор» Валентин Мочульский.

Несмотря на шум ближнего боя, кажется, что в нашей комнате воцарилась удивительная, какая-то особая тишина. Эта тишина и молчание — в нас самих. Тишину прерывает старший лейтенант Горбунов. Он смотрит и не смотрит на Фешу и говорит:

— Вот такие, понимаешь, дела. Ничего не поделаешь. Война!

Феша ничего не отвечает.

Тогда Горбунов, только чуть-чуть помедлив, берет в руки гранаты и тоже направляется к выходу. Феша его не останавливает. Она говорит:

— И вы туда, Алексей Никитич?

— Да, так нужно,— произносит Горбунов, теперь уже точно не глядя на Фешу.— Туда. Поближе. На всякий случай, понимаешь.

И уходит.

Феша сидит рядом с Сережей, смотря прямо перед собой упорным, невидящим взглядом. Сережа неожиданно спрашивает ее:

— Сколько тебе лет, Феша?

— Двадцать четыре,— отвечает Феша.

— А мне восемнадцать,— говорит Сережа.— И может быть, и тебе и мне никогда уже больше не будет больше лет, чем теперь.

Феша и без того уже находилась в сильном нервном напряжении.

После Сережиных слов она не выдерживает. Она забывает, что Сережа ранен, что он беспомощен. Она никогда не кричала, а сейчас кричит на Сережу:

— Замолчи! Пожалуйста, замолчи! Зачем ты это говоришь! Зачем ты глупости говоришь!

За домом, совсем близко слышны мощные гранатные разрывы. Один за другим. Что-то еще разрывается, взрывается, через окна, в которых уже нет стекол, удушливо тянет порохом и дымом.

Сережа спрашивает:

— Что это, Феша? Кто это?

Почти одновременно сбегает со своего второго, наблюдательного этажа Пронин и с улицы входит Горбунов.

— Вы слышали? — кричит Пронин. — Слышали?!

— Я видел, понимаешь, — говорит Горбунов.

— Один «тигр» подбит. Весь в дыму. В огне. Другой повернул назад. Наша артиллерия бьет по танкам прицельным огнем, — захлебывается словами и чувствами Пронин.

— Где-то наши орлы теперь? — говорит Горбунов.

— Это Вася с Валентином подбили «тигр»? — спрашивает Феша.

— Наверное, они. Они, точно. Вася Богачев, понимаешь, и Валентин, — говорит Горбунов.

Феша с очень бледным лицом поворачивается к Сереже:

— А ты глупости говорил...

Проходит совсем немного времени, и открывается дверь, и шатающейся походкой, покрытый гарью входит Валентин Мочульский. Он несет осторожно, бережно, как ребенка, Васино тело.

Ему навстречу тут же срывается, бежит Феша:

— Что случилось?! Боже ж ты мой! Что случилось?

— Теперь уже ничего,— странно растягивая слова, говорит Мочульский.

Кто-то уже расстелил на полу плащ-палатку. Мочульский кладет на нее тело друга. А сам все той же шатающейся походкой, неестественной походкой, отходит к стене, тяжело прислоняется к ней.

Горбунов и Пронин склонились над мертвым Васей. Феша не склонилась — точно замерла на месте. Она стоит будто каменная, без кровинки в лице, какая-то сразу вытянувшаяся. Вдруг она начинает шептать. Ее шепот едва слышен:

— Вася! Боже ж ты мой! Бедный Вася!

Фешин едва слышный шепот доходит до Валентина Мочульского. От противоположной стены, к которой он прислонился, доносится его растянутый хриплый голос:

— Плачешь, доктор? Обязательно поплачь. Он любил тебя. Первый раз в своей молодой жизни. И последний. О нем нужно поплакать. Мы переживаем сейчас тот период Отечественной войны, когда плакать совсем не стыдно.

Гримаса искажает лицо Мочульского. Его сильно шатнуло. Он едва удерживается на ногах. К нему подбегает Пронин и усаживает его на стул. Пронин говорит Феше:

— Доктор! Быстрее сюда. Кажется, его тоже ранило.

Феша сразу же выходит из оцепенения. Она быстрым шагом идет к Валентину.

— Валя, милый, дорогой! Что с тобой? Ты слышишь меня?

— Ничего,— отвечает Валентин.— Пустое. Обо мне не беспокойся. Маленькая пулька. Из танка. В спину. В позвоночник. Главное — совсем не больно.

Валентин Мочульский закрывает глаза. Голос его становится слабым. Он говорит в бреду:

— Все просто. И легко. Очень просто. Теперь — хана. Был «бабий профессор». Нет «бабьего профессора».

Неожиданно голос Мочульского снова крепнет. Но как-то неестественно крепнет. Он кричит:

— Мы переживаем тот период Отечественной войны...

Феша держит Мочульского за руку. Она говорит:

— Ребята, у него шоковое состояние. Это опасно. Помогите его уложить на диван. С ним очень плохо.

— Не тот период! Не тот период! — кричит Валентин Мочульский и пытается вырваться из рук Феши.

— Ему очень плохо, — повторяет Феша, и ее глаза наполняются слезами. Все ее милое, осунувшееся лицо залито слезами.

10

На другом берегу Немана, близ того места, где прежде находилась землянка артиллерийских разведчиков, стоит наш танк, и рядом с ним сидят танкисты. Они развели костер и готовят себе чай. Их трое: двое молодых и один «старик» — лет сорока.

Молодой, сильно курносый танкист спрашивает у «старика»:

— Так, значит, тебе баба не того?

— Огрызаться уже начала, откровенно скажу, — отвечает «старик». — Я ей говорю: на другой жени меня, отпусти к едрене фене. А она не отпускает. Не хочет.

— Плохи твои дела, — замечает курносый. — Вот у меня — в порядке. Сколько хочу, столько ворочу. Жена у меня сознательная, с понятием. Мы обое с ней — с понятием.

Курносый вытаскивает из костра котелок с кипящей водой.

— Чаем угощаться будете? — спрашивает он своих приятелей.

— Буду, — отвечает «старик». — Обязательно буду.

— Чай пить не будешь — откуда сила будет? — говорит третий танкист.

Из танка вылезает военный в форме майора. Это командир танкового батальона. Танк, из которого он вылез, командирский, а танкисты не просто его подчиненные, но еще и его боевые товарищи. В бой он пойдет вместе с ними.

Майор подсаживается к танкистам:

— Ну как, други, надоело ждать?

— Вроде бы надоело, — отвечают танкисты. — Что-то наша пехота не того. Никак шоссе не оседлает. Подкачали славяне.

— Да, — согласился майор. — Пехота ни с места. Все атаки отбивает. А сама атаковать никак не соберется.

— Не придется ли нам заночевать? — говорит курносый.

— Пехоте, ядрена шиш, что? — вторит ему «старик». — Пехота всегда так. Ей некуда спешить!

— Вот тебя бы пехотинцем! — возражает третий танкист. — Ты бы поспешил. На рысях вразвалочку.

— А что ты думаешь! Меня этим, откровенно скажу, не запугаешь. Я и пехотинцем могу.

— Не нужно ссориться, други, — вмешивается майор. — Ссориться нам, танкистам, никак нельзя.

К танкистам подходит майор Мухомор. За ним на некотором расстоянии следует Василий Иванович. Василий Иванович, как всегда, невозмутим. Идет вразвалочку, позванивая орденами и медалями. Мухомора же трудно узнать. Он не похож на себя. Фуражка сдвинута на затылок. Костюм измят. Лицо очень злое.

Увидев танкового майора, Мухомор сразу же обращается к нему:

— Это вы тут командуете танками?

— Я тут командую,— отвечает майор-танкист, не без удивления разглядывая Мухомора и явно не одобряя его тона.

— Так какого же черта вы тут стоите?! Почему не ведете танки в бой?! — кричит Мухомор.

— Что вы кричите?! — переходит на крик и танковый майор.— Кто вы такой? Я не обязан перед вами отчитываться.

— Ты мне обязан,— продолжает кричать Мухомор.— Ты мне обязан, мать твою перемать!

— Как вы смеете! Кто дал вам право так себя вести?

— Я имею право. Имею, черт возьми.

— Вы бы хоть солдат постыдились. Орете, как базарная баба. Ни толку, ни смысла.

— Сам ты баба, а не мужик. Мне нечего стыдиться. Мои люди гибнут на том берегу от немецких танков, а вы сидите тут. Чаи распиваете.

— Я вас еще раз прошу: возьмите себя в руки и ведите прилично. Как и подобает советскому офицеру.

К спорщикам подходит подполковник Колесников. Он оказался здесь случайно. Шел по своему делу. Но, услышав повышенно-возбужденные голоса, счел своим долгом вмешаться в спор.

— Что тут за шум, друзья? Чего не поделили? Ты что кипятишься, голуба,— обращается он к Мухомору.

Еще раньше, чем отвечает Мухомор, говорит танковый майор:

— Послушайте, товарищ подполковник. Ваш знакомый, видно, хватил лишнего. Ведет он себя самым недостойным образом.

— Хватил лишнего! — с новой силой вскипел Мухомор.— Недостойно веду? Я тебе покажу, кто из нас

достойн, а кто недостойн. Я послал своих людей на тот берег. Они там совершают чудеса героизма. А этот раззява, лентяй, этот хрен собачий...

Танковый майор хватается за кобуру пистолета.

Колесников мечется между двумя майорами, сдерживает их, осаживает. Он делает все возможное, чтобы их примирить и успокоить.

— Не нужно, друзья,— говорит он.— Тихе. Прошу вас. Приказываю вам как старший по званию!

Мухомор сознает, что зашел слишком далеко, и снижает тон:

— Пойми меня, подполковник. Мои люди сражаются, гибнут. Они нуждаются в поддержке. Помочь им может только наступление наших танков. А танки стоят на месте. И их командир ни о чем не хочет слушать. Ему тепло и не дует. Как же не волноваться! Как же тут не шуметь?

— Понимаю тебя, голуба,— говорит подполковник.— Понимаю. У меня у самого гибнут люди. Но зачем же нам, голуба, ссориться? Давайте разберемся во всем спокойно. Без горячки.

И продолжает, обращаясь уже к другому майору:

— Ты не сердись, голуба. Нам твоя помощь позарез нужна. Вот мы к тебе и обращаемся. По-дружески, по-товарищески. Скоро ли, если не секрет, пойдешь в наступление? Нельзя ли хотя бы несколько машин переправить на тот берег?

Танковый майор отвечает Колесникову с подчеркнутым дружелюбием и вежливостью. Он смотрит Колесникову прямо в глаза, на Мухомора совсем не смотрит.

— Очень сожалею,— говорит танковый майор.— Пока нет приказа, я никуда не двинусь. И у меня нет сомнений, что приказа не будет до тех пор, пока пехота не отвоюет плацдарм. Пока шоссе не окажется в наших руках. Без этого нам двигаться нельзя. Нам

нужна безопасная переправа и оперативный простор для маневра. Только в этом случае мы сможем выполнить поставленную задачу. Вы же не переправляете свою артиллерию на тот берег? — говорит он как будто Колесникову, а на самом деле больше всего Мухомору.

— Насчет артиллерии ты прав, голуба, — замечает Колесников. — Тут ничего не скажешь. И все-таки без танков нам хана.

— Положение такое, — продолжает объяснять танковый майор, — что в настоящий момент, в случае переправы, немцы легко перебьют все наши машины. Врага нужно сперва отогнать. И подальше. За белые домики. За шоссе. И это сделать сможет только наша пехота.

— У тебя есть связь с начальством? — спрашивает Колесников.

— Пожалуйста, товарищ подполковник. Если вы хотите поговорить сами, я не возражаю. Только предупреждаю, что ничего у вас не выйдет.

Жестом руки майор-танкист приглашает подполковника Колесникова в танк. Следом за Колесниковым без всякого приглашения лезет в танк и Мухомор.

Все то время, пока командиры спорили и горячились, выясняя отношения, Василий Иванович стоял в приличном отдалении и со спокойным видом смотрел по сторонам. Теперь, когда Мухомор скрылся в танке, Василий Иванович решительным шагом направляется к танкистам.

— Привет, славяне! Закурить не найдется?

— А, знакомая фигура! — весело приветствует Василия Ивановича курносый танкист. — Присаживайся, приятель!

Приятель не заставляет себя упрашивать. Садится. Ему протягивают кисет с махоркой.

— Это не ты, солдат, вчера свинью искал? — спрашивает Василия Ивановича «старый» танкист.

— Сам знаю, кого искал,— резонно отвечает Василий Иванович и с удовольствием, с упоением затягивается махоркой.— Вы еще долго будете здесь придушиваться?

— Нам здесь, откровенно скажу, неплохо,— признается «старик» танкист.— Куда спешить, к едрене фене? На тот свет успеем еще.

— Видно, что не спешите. Вам бы не войной заниматься, а трофеи собирать. В городе Тамбове.

— Ты свинью имеешь в виду,— догадывается курносый.— Хорошая была свинья.

— Мы тебя вчера весь день добрым словом поминали,— говорит третий танкист.— Спасибо, мол, разведчику, что свинью нам организовал. Лихой разведчик. Сознательный.

— О, черт! — вскакивает на ноги Василий Иванович.— Значит, это вы. Туды вашу печенку. Попались бы вы мне, братики, на передовой!

— Не нужно быть злым, приятель. Сделал доброе дело — не жалею о нем. А на передовой мы все будем.

Между тем из танковой башни вылезают Колесников, танковый майор и Мухомор. Мухомор, вылезая, чертыхается, матерится.

Уже стоя на земле, Колесников говорит Мухомору:

— Вот видишь, голуба, ничего у нас с тобой не вышло. Они по-своему правы. Придется уж нам как-нибудь своими средствами.

— Люди, подполковник,— отвечает на это Мухомор.— Какие люди! Если бы вы их знали!

— Знаю, голуба, знаю. И у меня ведь тоже. Душа плачет.

Танковый майор обращается к Колесникову и Мухомору:

— Вот так, товарищи офицеры. Будем ждать соответствующего приказа. Сам я с превеликим бы удовольствием. И ребята мои давно рвутся в бой. Надеюсь, долго нам ждать не придется.

Майор-танкист прикладывает руку к фуражке.

— Честь имею!

Мухомор и Колесников идут прочь. Отойдя немного, Мухомор не удерживается, передразнивает танкового командира:

— Честь имею! Ишь, как насобачился. Сукин он сын — вот кто он такой.

— Это ты напрасно, голуба,— не соглашается Колесников.— Чем же он виноват! Приказ есть приказ. И когда нет приказа, значит, его нет.

— Все они невиноватые,— настаивает на своем Мухомор.— Тетери сонные. Сволочи. Так их и растак! — Мухомор оглядывается и словно только теперь видит бредущего за ним Василия Ивановича. Голос его сразу же меняется. Это тот самый голос и тот самый тон, какими он всегда говорит с разведчиками.— Идешь, молодец? — тонко и пискляво-пронзительно восклицает он.— Идешь, герой? Благодарю тебя за службу. Можешь отправляться в штаб полка. Разрешаю. Отдохни. Ты заслужил свой отдых, солдат. Передай старшине, чтоб накормил тебя. По самой высокой норме, по высшей категории. Скажи, сам Мухомор приказал. Из моего пайка. Пусть не жалеет! И наркомовскую — граммов двести пятьдесят!

По лицу Василия Ивановича пробежало радостное, довольное выражение и тут же исчезло. Василий Иванович умеет сдерживать свои чувства. Он снова спокоен и невозмутим. Небрежно и спокойно отдает честь, уходит.

Мухомор говорит о нем Колесникову:

— Орел парень. Вот такие же орлы и на том берегу остались...

— Давно у тебя связь с тем берегом прервалась? — спрашивает Колесников.

— Давно. Часа три. Прислали для связи Масленникова. Хотел назад его послать, да раздумал. Боюсь, живым не доберется. Да и ни к чему теперь.

— Да, голуба,— понимающе кивает Колесников.— Нелегко нам приходится. Нелегко.

В это время вдали показываются Горбунов и Феша. Хотя и далеко до них, но видно, что Горбунов без фуражки, голова его перевязана мотками бинта. Феша идет чуть-чуть сзади Горбунова. Она идет, опустив голову, тянет по земле свою санитарную сумку.

Первым их замечает Колесников и указывает на них Мухомуру.

— Это не твои там идут, голуба?

Мухомор всматривается. Узнает.

— Точно,— говорит он.— Горбунов. Молодец, сукин сын! Выбрался, значит. И племянница с ним.

— Вот видишь,— говорит Колесников.— А ты беспокоился.

И Колесников улыбается, и по голосу его, по выражению лица видно, что он очень рад, что к Мухомуру вернулись живыми его орлы.

Медленно и тяжело подходит Горбунов к Мухомуру. Забывает поздороваться. Не столько рапортует своему командиру, сколько рассказывает. Просто рассказывает о героических и печальных делах своих:

— Эта самая история, товарищ майор. Наблюдательного пункта в белых домиках больше не существует. По нашим данным, поражено орудийным огнем двенадцать целей противника. Подбито семь вражеских танков. Два танка вывели из строя непосредственно разведчики.

По мере того как Горбунов рассказывает, Мухомор становится все торжественнее. К нему окончательно возвращаются его обычная стать и повадки.

— Молодцы, ребята! Молодец, Горбунов! — громко одобряет он. — Хвалю героев!

Горбунов словно не слышит похвалы Мухомора. Да и что ему сейчас похвала! Он продолжает рассказывать:

— Весь личный состав отделения разведки, непосредственно, выведен из строя. Пронин тяжело ранен. Погиб Валентин Мочульский. Нет Васи Богачева...

Горбунов тяжело сглатывает слюну.

— Хорошие ребята погибли, понимаешь...

— Понимаю. Понимаю, брат, — говорит Мухомор. — Но ничего. Не расстраивайся, Горбунов. Что люди погибли — на то война. А за подбитые танки — молодец! Подбитые немецкие танки я тебе не забуду. К ордену представлю. И орлов твоих тоже. Посмертно. — И чуть понизив голос, продолжает: — Ты, брат, и сам, я вижу. Чего ж молчишь? Тебя тоже стукнуло? В санчасть бы надо.

Горбунов в ответ только втягивает в себя носом и вдруг, не спрося разрешения, резко поворачивается, идет прочь от Мухомора. Идет он к Феше, которая сидит прямо на траве, поблизости. Он садится рядом с ней. Они сидят рядом и ничего не говорят друг другу. Впервые они вот так, при людях, на виду, сидят совсем близко, бок о бок.

— Вот, — говорит Мухомор все еще стоящему рядом Колесникову. — Чудо-мужик. Сильно досталось ему сегодня. Побольше бы таких мужиков — давно бы войну закончили.

К Колесникову быстрым шагом подходит откуда-то появившийся старший лейтенант, корреспондент фронтовой газеты.

— Здравия желаю! Это опять я. Помните? Из газеты.

Колесников помнит, но от этого ему не легче. Он

по-прежнему не знает, что ему делать с корреспондентом.

— Как же, как же,— говорит он и даже пробует улыбнуться.— Очень хорошо помню. Сейчас мы с вами что-нибудь придумаем.

Он беспомощно оглядывается, думает, соображает. Внезапно в его голове рождается спасительная идея. Колесников указывает корреспонденту на сидящих Фешу и Горбунова.

— Хорошо, что ты пришел, голуба,— бледно улыбается Колесников.— В самый раз. Очень кстати. Спроси у него. Вон там он сидит, рядом со своим санинструктором. Старший лейтенант. Он тебе расскажет о героизме. Ему есть что рассказать. Они только что вернулись с той стороны. Поговори с ним, голуба.

Корреспондент благодарит подполковника и идет к Горбунову. Что-то во внешности Горбунова заставляет корреспондента понизить голос, быть тихим, быть очень тихим:

— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант! Извините. Меня направил к вам подполковник Колесников. Видите ли, я корреспондент фронтовой газеты. Я знаю, что вы только что с того берега. Не могли бы вы мне рассказать? Рассказать об особенно ярких случаях героизма наших людей.

Горбунов слушает корреспондента, не вставая, вполуха. Он только чуть поднял голову. Смотрит на корреспондента снизу вверх. Когда тот кончил, когда до Горбунова доходит, чего от него хотят, он бесконечно усталым голосом произносит:

— Случаи героизма? Не было никаких случаев, понимаешь. Люди погибли. Люди. Эта самая история...

Корреспондент все понял. Все понял как нужно. Совсем уже тихо и очень серьезно он говорит:

— Простите меня, пожалуйста.

И тут же поворачивается, уходит. Спешит уйти.

А в это время мимо Горбунова и Феши проходит Сережа. Раненая рука у него все так же висит, но она затянута в шину и белоснежно перебинтована. Сережа идет из санчасти полка в дивизионный медсанбат. Он видит, что происходит с Фешей и Горбуновым, он знает обо всем, но ему все же не удержаться от радостной улыбки.

— До свидания, товарищ старший лейтенант! До свидания, Феша!— кричит он, улыбаясь.— Иду на починку. Скоро вернусь к вам. Примете?

Горбунов отвечает Сереже все тем же усталым голосом, но вместе с тем и с теплотой:

— Примем, новичок. Примем. Выздоровливай.

— Будь счастлив, Сережа,— тихо говорит Феша.

То место, где сидят Феша и Горбунов, совсем недалеко от блиндажа, в котором размещен командный пункт стрелкового полка — полка Колесникова. Из блиндажа выскакивает связист. Пилотка его сдвинута куда-то набок, он очень возбужден. Крутит головой направо, налево — кого-то высматривает. Увидев Колесникова, бежит к нему.

— Товарищ подполковник,— докладывает он, с трудом справляясь с дыханием.— Товарищ подполковник! Только что передали из хозяйства Рязанова. Наши карандаши, простите, наши бойцы перешли в наступление. Фрицы того. Бегут. Занята вторая линия обороны.

— Спасибо, голуба. Хорошие новости,— говорит подполковник Колесников, и лицо его сияет от счастья.— Передай, что благодарю. Всех благодарю. Молодец, Рязанов.

— Можно идти? — спрашивает связист.

— Иди, голуба, спасибо.

Связист уходит. Но и пяти минут не прошло, как он возвращается снова. На этот раз он еще больше возбужден и взволнован.

— Товарищ подполковник, ура! — кричит он. — Бойцы Рязанова и Иванова вышли на шоссе за белыми домиками. Противник в панике. Наши преследуют его. Ура, товарищ подполковник. Победа!

— Слава богу! — счастливо восклицает Колесников. На глазах у него слезы. — Спасибо вам, голубчики, — благодарит он своих солдат, живых и уже неживых. И тут же поворачивается к Мухомору:

— Слышал, майор? Шоссе в наших руках.

— Слышал, слышал, — говорит Мухомор и в сердечном порыве обнимает Колесникова, хлопает его по рукам, по плечу.

Затем энергичным, широким шагом идет к Горбуну и Феше. Говорит им:

— Слышали, друзья? Чулы? Наша взяла!

Он склоняется над Фешей:

— Не журишь, дивчина! Не нужно. Нужно радоваться. Наша взяла. Ты слышишь меня, племянница?

Мимо пробегает майор-танкист. Увидев Мухомора, на мгновение останавливается, дергает его за рукав:

— Вот и наша очередь на тот берег. К белым домам. На шоссе. Пожелай нам удачи, майор. И не поминай лихом.

— Ни пуха ни пера! — от души восклицает Мухомор.

— К черту! К черту! — кричит уже на ходу танковый майор.

Подтянутый, торжественный, с хлыстом в левой руке, провожает глазами танкового майора Мухомор. Со свойственным лишь ему одному изяществом поднимает он правую руку к головному убору. Не сразу опускает ее. Это у него знак высокого удовлетворения.

А в стороне, на траве, в нескольких шагах от него сидят, продолжают сидеть Феша и старший лейтенант Горбунов.

Их в тот момент я особенно хорошо запомнил. Всю эту картину, всю сцену запомнил. И сейчас, спустя много лет, живо все вижу.

Феша сидит рядом с Горбуновым и все-таки как бы и отдельно. У нее измученное лицо. Измученное горем, бедою, тяжелыми мыслями. Она долго сдерживалась, старалась сдерживаться. Но теперь пришла победа, радость, и она сдержаться больше не может. Закрывает лицо руками. Частой дрожью дрожат ее плечи. Она плачет.

Плачет горько, в голос, навзрыд.



В санитарном поезде

Санитарный поезд двигался на восток, в сторону, противоположную фронту. Нас везли в товарном вагоне, предварительно вымытом, вычищенном, приспособленном для перевозки раненых. И все это в моей памяти. Слышу голоса. Вижу.

С обеих сторон широкой раздвижной двери — нары в два этажа. Узенькое окошко, сквозь которое в вагон просеивается дневной свет. В вагоне душно и шумно. Разговаривают, стонут, смеются.

Прямо против меня, на противоположных нарах, сидит тощий долговязый парень в телогрейке, свесив длинные кривые ноги. Левая рука его перевязана бинтами до самого локтя. Лицо бледное, невыразительное, кажется тупым. Он монотонно, негромким голосом повторяет:

— Больно мне... Больно мне...

Кому-то это совсем не нравится. Издалека, из глубины нар слышится резкое:

— Кончай свою музыку! Эх ты, музыкант! Завел свою шарманку...

Долговязый как будто не слышит. Он совсем ничего не слышит. Он продолжает свое:

— Больно мне...

Справа от меня, в самом углу, заросший щетиной человек лет тридцати, с печальными глазами, говорит своему соседу:

— Черт возьми! Везти нас в товарном вагоне, в духоте... И никакого присмотра. Неужели не могли найти для нас вагона поудобнее? Интересно, о чем только думает начальство?

— Вам в самом деле интересно, о чем думает начальство? — спрашивает сосед.

— Но нужно же понимать, — говорит человек с печальными глазами.

— Понимать? Вы все хотите понимать?

Рядом с ними, ближе ко мне, молодой, лет двадцати, солдатик разговаривает со стариком, у которого осколком выбило маленькую ямочку над глазом. Осколок сделал старика слепым. Может быть, оттого, что лицо старика слепо, оно кажется удивительно благообразным и умиротворенным.

Молодой солдатик интересуется:

— Боль-то чувствовал, когда стукнуло?

— Сначала ничего, — отвечает старик. — Врать не буду. Только черно в глазах стало. Да вроде как порохом в ноздрю ударило. Потом как будто, между прочим, кинжал...

— Молния?

— Вот-вот, сынок, молния. Самая она и есть. Ровно ухватил меня кто-то за горло. Только хотел крикнуть: «Караул!» — да поздно. Больше ничего и не помню.

— И как в санбат попал, не помнишь? — продолжает допытываться «сынок».

— Не помню. Знать, на другой день только в себя пришел.

— Здорово досталось. Сколько же лет тебе, папаша?

— Пятьдесят седьмой пошел.

— Как же тебя в армию взяли? Годы-то ведь не те. Не для войны.

— Да меня недавно. Как немцу отступить. Русские к нашему селу подошли — я недалеко от Починка живу, смоленский я, — тут меня и мобилизовали с лошадкой. Командир говорил: «Ненадолго, отпустим скоро, очень уж нам лошади нужны и повозочные тоже». Так и говорил. А получилось по-другому. Известное дело — война. — И, помолчав немного, пошлепав губами, посопев, старик неожиданно громко вздыхает: — Вот только, между прочим, трудно теперь. Слепому, говорю, трудно.

— Слепому, это точно, слепому трудно, — соглашается «сыннок».

— Трудно? — вмешивается в разговор лежащий поблизости усатый, крепко сбитый человек, с белой шапкой бинта на голове. Усатый возмущенно хрипит: — Молчи, старик! И не такие, как ты, слепнут! Сколько теперь молодых — без глаз. А ты, твою мать нехай, трудно! Свое пожил — тебе и жаловаться нельзя!

— Я-то что, — тут же легко сдается слепой. — Я не жалуясь. Конечно, пожил на этом свете. Ничего, между прочим. Много повидал...

— Вот я это и говорю, — подтверждает усач. И вдруг без всякого перехода, прорываясь сквозь хрип, кричит: — Братцы, в бога мать! У кого утка? Даешь сюда утку!

С другого конца вагона несется в ответ беспечно и веселое:

— Нету, кореш, утки. Уплыла. Валяй пока под себя.

— Под себя это ты будешь. Ишь, очерил зубы... Кикимора!

— Сам ты кикимора усатая!

— Молчать! А то сапогом по глупой башке...

— Ой ли, ми-и-лай! Как же это ты сапогом меня достанешь? Вояка ты моя прелестная и отчаянная!

А в это время человек с печальными глазами говорит своему соседу:

— Можно со всем примириться, пока находишься на фронте, но здесь...

— Вам, наверное, нелегко было на фронте,— перебивает его сосед.

— Почему вы так подумали?

— Мне показалось, что вы очень любите задавать вопросы. С этим нелегко жить. Тем более воевать.

— Это правда. У меня глупая привычка. Но, видите ли, если мне и было нелегко, то совсем по другой причине. Просто для солдата у меня было не совсем удачное прошлое. Детство в городской, довольно устроенной семье. Отец — бухгалтер, мать — машинистка. Летом, почти каждый год, ездили в деревню, на родину матери. Вместе с деревенскими ребятами каждую ночь отправлялся в ночное, пасти лошадей. Мне это нравилось. Я полюбил деревенскую жизнь. Но я оставался все-таки городским мальчиком. Не умел ни пахать, ни бороться. Не знал, как держать в руке косу. Не владел ни лопатой, ни топором тем более. Ко всему этому я был не приученным. А в главной, городской моей жизни были школьные, а потом студенческие годы. Увлечение наукой. Потом — любимая работа, умственная работа. Перед войной я уже был в должности старшего инженера...

— И вам было обидно, что вами командует какой-нибудь с неоконченным высшим или даже с неоконченным средним?

— Вы не угадали. Что с незаконченным средним — это мне не мешало. Помогало даже правильное думать о себе. Я ведь теперь не слишком высокого о

себе мнения. Хотя воевал я по-настоящему. В этом стыдиться мне нечего. Я был там, где опасно. Там, где каждый день кто-нибудь погибал, кого-нибудь ранило. Я был сапером, я ставил и обезвреживал мины. Я копал траншеи. Строил землянки. И вот копать и строить мне было нелегко. Я просто не умел. Мне пришлось все постигать заново. Постигать самую простую и самую трудную жизненную науку. И я не могу сказать, что я сумел все постигнуть.

А для моих товарищей и однополчан, рязанских и тамбовских мужиков, все было просто и привычно. Они быстро и хорошо делали свое дело, свою работу. И я смотрел на них с невольной завистью. С уважением, восторгом. Очень высоко в моих глазах теперь стоят мои товарищи, рязанские и тамбовские мужики. Выше, гораздо выше, чем я сам...

— Ах, милый вы мой интеллигентик! — говорит, не удерживаясь, сосед.

— Простите, а вы сами?

— Разумеется, и я тоже. Также вашего поля ягодка.

— Вы тоже инженер?

— Нет, я учитель.

— И вам тоже нравилась ваша специальность?

— Нравилась. Более чем нравилась. Учитель — это трудная, но и славная работа. Смею думать, что меня любили мои ученики. Особенно те, которым я часто ставил двойки. Те, которые принадлежали к числу «отпетых».

— Вы работали в городской школе?

— Перед войной я учительствовал в маленьком районном городке — в Опочке. В Псковской области. Бывало, иду я утром в школу, а мои «отпетые» — они всегда ходили вместе, компанией, — завидев меня, с другой стороны улицы бегут ко мне через дорогу. А по дороге идут машины. Я кричу им: «Стойте! Попадете под машину!» Они пропустят машины, перейдут

дорогу и ко мне подходят. Я говорю им: «Черти! Куда вы спешите? Что, у вас головы на плечах нет?» А они мне отвечают, без улыбки, серьезно отвечают: «А мы, Алексей Алексеевич, вас увидели!»

Но все это было давно. И все это теперь как сон. Сейчас мне порой кажется, что я никогда не был учителем, а всю свою жизнь только тем и занимался, что носил «удочки». Вы, конечно, знаете, что такое «удочка»? Это противотанковое ружье. В солдатском просторечии его «удочкой» называют. Я не подбил из своего ружья ни одного немецкого танка, так уж, не пришлось, хотя я провоевал с ним около трех лет и никогда не был трусом. Зато я прошел много сотен километров с «удочкой» на плечах и видел смерть в глаза и успел быть три раза раненным. В последний раз — довольно основательно.

Учитель приподнимает нижний край одеяла, открывая свои ноги, от ступней и до самого почти паха перетянутые гипсовой повязкой.

Инженер задумчиво, точно не в ответ, точно досказывая свои собственные мысли, говорит:

— Да, вы солдат. Я это вижу и чувствую. Вы стали настоящим солдатом. Об этом я и мечтаю.

— Зачем вам это теперь? — снова впадая в свой привычный, слегка иронический тон, возражает учитель. — Война скоро кончится. Вы ранены, но остались живы. Вы снова вернетесь к мирной жизни. Все у вас будет, как раньше. Вы снова будете главным инженером...

— Но я не хочу для себя как раньше! — с горячностью восклицает инженер. — Я не хочу, чтобы война ничему меня не научила!

С нижних нар доносятся жалобные крики:

— Вай, живот! Где сестра? Живот, сестра. Сестричка, дарагая! Не могу, панымаешь...

В ответ угрожающе кричит усач:

— Ничего, сможешь! И помолчи лучше, кацо! И без тебя тошно. А то я тебе сейчас такую «вай» устрою. На весь свой век запомнишь!

Жалобные крики не утихают. Усач искренне обижается:

— Вот и говори с ним по-хорошему. Разве он что понимает? Туды его мать, нехай...

«Сынок» говорит, обращаясь к усачу:

— Может, споем лучше?

— Твоя правда, друг. Можно и спеть. Ты сам-то петь умеешь?

Хриплым, точно простуженным голосом усач запевает:

Не для меня придет весна,
Не для меня Дон разольется...

«Кацо» кричит еще сильнее и жалобнее, чем прежде:

— Ара, живот! Живот, панымаешь?

— Ничего не сделается с твоим животом,— сам себя перебивает усач. И тут же до предела напрягает свой певчий голос. Ему неумело вторит «сынок»:

...А сердце жалобно забьется
С восторгом чувств не для меня...

Со всех сторон пробуют увещевать певцов:

— Эй, вы, артисты, заткните глотку!

— Замолчите, братцы, нехорошо, ей-богу!

— Да перестаньте же! Человеку, может, и вправду плохо. А вы горло дерете.

— А нам что — хорошо? — огрызается «сынок». — Может, нас самих и в горло, и в печенку. Оттого и поем. Эх, братцы, братишечки:

Не для меня сады цветут,
Распустит роза цвет душистый...

Вагон сильно дергает. Вагон точно спотыкается на ходу. И сразу же обрывается песня, так и не успев

досказать свою жалобу и свою печаль. Вместо песни во многих местах слышны стоны, матерная брань, проклятия по адресу машиниста.

Инженер, весь сморщившись от боли, точно извиняясь перед кем-то, говорит:

— Черт возьми! Никогда не думал, что может быть такая сильная боль. Невозможно сдержаться.

— Вы бы посильнее, — советует ему его сосед учитель. — Сильнее — помогает. Русский человек сильными словами только и поддерживает себя в трудных обстоятельствах.

— Да, — слабо улыбается инженер. — Сильным словам я тоже так и не смог выучиться. Это моя беда. А о русском человеке я часто и много думаю. Чего только не выдержит русский человек! Вот говорят, какие-то иностранцы чудом нашего брата называют. Поистине чудо-человек!

Учитель молчит. Оставляет без внимания слова инженера. Но погода немного говорит:

— Посмотрите на одно из ваших чудес. Вы видите, что он делает? Он явно не хочет больше воевать.

Это относится к долговязому парню в телогрейке с тупым выражением лица. Тот сидит все на том же месте, на верхних нарах, его тонкие кривые ноги спущены вниз, а правой, здоровой своей рукой он медленно и как будто безразлично стягивает с левой бинты. Теперь все заметили, что он делает.

— Ты чем занимаешься! — кричит на него «сын-нок».

— Больно мне, — как и прежде, монотонно, тягуче говорит долговязый.

— Вы думаете, он делает это нарочно? — спрашивает у учителя инженер.

— Вполне возможно. У него тонкая политика. Предпочитает скорее потерять руку, чем снова возвратиться на фронт.

— Это ужасно!

— У него самого на этот счет другое мнение,— замечает учитель.

Парень в телогрейке все стягивает свои бинты. На него зло, с неприкрытой ненавистью смотрит «сынок».

— Это, наверное, могилевский. Из Могилевской области,— говорит он.— Слышал я о них. Всю войну под крылышком у бабы просидел или в лесах скрывался. Дождался, покуда освободят. А теперь, когда освободили, и воевать не хочет. Много я о них понаслышан. Из-за таких, может, и драпать в сорок первом пришлось!

— Больно мне,— тихо и как-то совсем без выражения лопочет «могилевский».

— Больно? — удивляется усач.— А ты думаешь, мне сладко?

И через меру увлекается:

— Я пятнадцать ранений имею, из них пять тяжелых,— и то молчу. Подумаешь, поцарапало руку! Я бы ихнего брата, нехай...

— Могилевский он,— продолжает свое «сынок».— Его, понимаешь, война не устраивает. Она ему не симпатична. Знаю я таких. Хорошо изучил...

Включаются в разговор и другие обитатели вагона. Все настроены против «могилевского» и не стесняются в выражениях. В то же время забытый всеми плачет «кацо»:

— Вай, живот! Живот балной!

А инженер, заложив за голову руки и устремив в потолок вагона свои большие печальные глаза, философствует:

— Сколько вокруг и рядом с нами страданий! Неужели за это не будет человеку награды? Это было бы несправедливо...

Учитель улыбается:

— Вы еще и верующий, мой дорогой коллега?

— Да,— не понимает или не хочет понять иронии инженер.— Да, я действительно верующий. Я, понимаете, в человека верую. Точнее сказать, очень жалею и люблю человека. Самого простого, самого обыкновенного...

— О какой награде вы говорите?

— Я сейчас объясню. Только вы не смейтесь. Для меня это не просто слова, это пережитое и передуманное. Видите ли, на войне я лучше узнал и понял людей. Конечно, я видел в людях не только хорошее и приятное. Иногда мне делали больно. И это бывало. Но в конечном счете все это мелочи, пустяки. Что все это может значить по сравнению с главным — с великими страданиями и мужеством людей! И вот я думаю: человек, прошедший войну, заслужил право на счастье. Да, заслужил. Должно быть все очень хорошо и радостно теперь на земле, потому что людям это нужно после страданий! Вот о какой награде я говорил. Вы смеетесь?

— Нет, я ругаюсь.

— Вам очень больно?

Учитель молчит. После небольшой паузы он произносит ровным голосом:

— Кажется, мы подъезжаем к станции.

Поезд рывками замедляет ход. После особенно сильного рывка останавливается. Из вагонного окошка видно полуразрушенное станционное здание и на нем чуть запорошенная надпись — «Лида».

— Знакомое название,— говорит учитель.— Этот город мы брали. Жарко было. Много наших здесь полегло. Отсюда мы шли к Неману. А потом к Вильнюсу и Каунасу. Потом — в Восточную Пруссию. Теперь мы тем же путем едем в обратном направлении. Не идем, а едем. Интересно. Никаких забот. Тепло и не дует. Как любил говорить мой погибший приятель — комфортабель!

С шумом, с громким скрипом раздвигается наша дверь. В вагон поднимается долгожданная сестра. Она молода, мала ростом и миловидна. У нее повадки мальчишки. Среди раненых солдат она чувствует себя уверенно и просто.

Но в первые минуты она не возбуждает симпатий. Мы встречаем ее откровенно недружелюбно.

— Что, сестрица, с офицерами веселее ехать?

— Может, здесь нехорошо пахнет — так уж вы извините. Мы тут без высокого образования...

Сестру не смущает такой прием. Она остается спокойной и уверенной.

— Во-первых, — говорит она, — я одна на два вагона. Во-вторых, в вагоне, откуда я пришла, едут такие же солдаты, как и вы. Так что учтите...

— Мы уже давно все учли, — не сдается кто-то из раненых. — Учли и подочли. Суду все ясно.

Сестра считает невозможным для себя продолжать пререкания.

— Кто тут во мне нуждается? — деловито спрашивает она.

— Тут старичок один нуждается, — охотно шутит «сынок». — Мой сосед. Только не знаю, справится ли. Ему шестьдесят годов стукнуло.

— Ничего, — парирует сестрица. — Старый конь борозды не испортит. Правильно говорю, папаша?

— Га! — выразительно крикает слепой.

Голосом, исполненным тоски, взывает «кацо»:

— Дарагуша! Пади сюда, пажалыста. Живот болит. Не могу больше.

— Не умер еще, дорогой, — ехидничает сестра. И тут же делается очень официальной: — Вы куда ранены?

— Нага нет у меня.

— А стул у вас был?

— Какой такой стул? Не знаю, что это такое. Аппаратура не могу.

— Ну, это мы сейчас устроим. Маленькая клизма — и все будет в полном порядке.

— Теперь тебе, милочка, меньше чем двумя ведрами воды не отделаться, — ободряет «кацо» чей-то дружественный голос.

Сестра ловко и быстро делает свое дело. В вагоне еще шумнее, чем прежде. Присутствие женщины возбуждает людей. Звонкими становятся голоса, все острее шутки.

Учитель подзывает к себе сестру и указывает ей на «могилевского»:

— Послушайте, его надо перевязать. А то он по ошибке разбинтовал себе руку. У него может быть заражение.

— Вы почему разбинтовались? — спрашивает маленькая женщина, повернувшись к долговязому парню в телогрейке.

Долговязый парень как-то совсем уже безразлично и тупо говорит:

— Больно мне...

— Он у нас нежного воспитания, — поясняет «сын-нок». — Воевать не хочет. Боли боится. Могилевский он.

— Я у вас не спрашиваю, — строго говорит сестра и снова обращается к долговязому: — Где у вас болит?

Чуть слышно, больше губами, чем голосом, тот шепчет:

— Живот... Горит... Больно...

— Живот? Что же вы молчали?

Маленькие искусные руки осторожно снимают верхнюю одежду. Обнажается худое, некрасивое тело. Ниже груди, как бы в провале, темные от крови мотки бинта.

— Почему вы сидите? Вам нельзя сидеть.

— Больно, — шепчет свое долговязый.

— Это он бредит, — догадывается инженер. — Он давно уже бредит.

Устанавливается на какое-то время особенная, полная тревоги и ожидания пауза. Потом сестра говорит:

— Его нужно положить на нижние нары. Придется несколько потесниться, товарищи!

И ее лицо, хорошенькое лицо маленькой, славной женщины, выглядит очень озабоченным.

Тихо в вагоне. Ушла за доктором сестра. Исчезло недавнее возбуждение. Все точно замкнулось в себе. Присмиревший, с мрачным, потухшим взором лежит усач.

— Схватило, друг? — спрашивает его «сынок».

— Схватило, твою мать нехай...

— Да, — говорит «сынок», — плохо дело.

И, немного помолчав, словно рассуждает сам с собой:

— Чудеса! Могилевский-то! Я думал, он сачок сачком. А он и вправду в ящик сыграть собрался. Так и пойми человека!

Другими словами о том же говорит учитель:

— Выходит, напрасно я его обидел. Да. Нехорошо получилось...

— Вы думаете, для него нет надежды? — спрашивает инженер.

— Об этом я сейчас не думаю.

— Скорей бы доехать до места, — вздыхает инженер.

Возвращается в вагон сестра. Теперь ее уже не встречают укорами и обидными словечками. Она говорит:

— Сейчас придет врач. Ничего тут без меня не случилось?

И, как будто в ответ на ее вопрос, раздается дикий крик с нижних нар:

— Уберите его отсюда к чертовой матери! Иначе я сам его выброшу...

— Что такое?

— Могилевского своего уберите. А то он тут уборную устроил. Дышать нечем.

Лезет на нижние нары сестра. В глубину нар. Долго ее не видно. Когда вылезает оттуда, когда появляется, говорит просто и торжественно:

— Он умер, товарищи. Сейчас скажу, чтобы вынесли.

Через несколько минут двое краснорожих парней-санитаров выносят на носилках тело мертвого «могилевского». Долго никто не произносит ни слова. Наконец первым прорывается «сынок»:

— Вылезил, значит, братишка! — и добавляет тоном великого изумления: — Твою мать...

Трогается поезд. Громко, на весь вагон, скрежещет зубами усач. Снова стоны, разговоры, ругань. С нижних нар, с тех самых, откуда только что убрали «могилевского», раздается песня:

Ай, мама-джан, ай, папа-джан...

Это повеселевший после промывания желудка «кацо» напевает на свой лад.

— Солнечная Грузия запела, — смеется «сынок».

— Передай солнечной Грузии, пусть прикроет свое поддувало, — хрипит усач.

— Ара, зачем ругаешься, — говорит в ответ «кацо». — Ва-пэрвых, не солнечная Грузия, а солнечная Армения. И давай лучше будем вместе петь. Спэрва вместе петь, а когда война кончится — вместе пить и радоваться.

Где-то в самом конце вагона рассказывают фронтовую быль, как рассказывают сказку:

— Разместились мы на поляне, а вокруг кустарник ореховый. Приняли боевую изготовку. А тут «месеры» налетели. Как начали писать, пулеметными очередями нас поливать. Писали-писали, а потом как печатать приставят! Бомбу, то есть, на нас. Одну и другую. Много бомб. Шесть человек из тридцати нас в живых осталось. Послали комбату доложить. А комбат в ответ записочку, и в записочке той указание нам: мол, продолжайте держаться так же мужественно, как держались. И еще больше повысьте свое морально-политическое состояние. Вот мы и держались. До самой ночи. А ночью все совсем стихло. И когда ночь подвинулась уже к утру и начало чуток развидняться, тут вдруг соловей загрохотал в орешнике, запел, засвистал. И так все было, как будто и нет совсем войны.

Поет, продолжает веселиться «кацо»:

Ай, мама-джан, ай, папа-джан,
Люблю деньги пра-апивать...

— Наш нижний товарищ решил сполна уплатить долги,— говорит учитель.

— Да,— подхватывает инженер.— Теперь поет он. А наш сосед стучит зубами от боли. И главное, что оба они, должно быть, отличные люди.— И немного погода продолжает, но уже о другом — о самом для себя важном: — Нет, что ни говорите, а будущее наше должно быть счастливым. Счастливым и прекрасным...

— Счастливым и прекрасным,— тихо повторяет за инженером учитель, и в голосе его звучат неожиданные мягкие ноты.— И после короткой паузы говорит еще, все с той же неожиданной для него мягкостью: — А знаете, в чем-то вы правы, коллега. Кажется, мы и в самом деле заслужили счастливое будущее!

В движении дрожит, пошатывается вагон. Поступают на стыках рельсов колеса. Санитарный поезд

продолжает свой путь. На восток. В сторону, противоположную фронту.

Шел тогда одна тысяча девятьсот сорок пятый год. Была середина февраля.

До конца войны оставалось меньше трех месяцев.

„Улыбнись, мой милый...“

Детство Володи Дубравина прошло в Ленинграде. На Рузовской улице, поблизости от Витебского вокзала.

Самой большой достопримечательностью Рузовской улицы были казармы. Они тянулись по всей улице, по левой ее стороне, от Загородного проспекта и почти до самого Обводного канала.

Когда-то в этих казармах был расквартирован Семеновский лейб-гвардии полк. В Володины времена полк, занимавший казармы, был самый обыкновенный, красноармейский. Но по старой памяти казармы и теперь называли семеновскими.

Входные ворота семеновских казарм находились как раз напротив того дома, в котором жил Володя. Большого семиэтажного дома, на углу Клинского проспекта. Через эти ворота проезжали военные машины и повозки, через них пропускали своих бойцов и командиров, а также лиц, имеющих специальные пропуска.

Разумеется, ни Володя, ни его закадычный друг Шурик Баскаков, ни другие их приятели специальных пропусков для входа в казармы не имели. Тем не менее им не раз удавалось проникать за ворота, во внутренний двор казармы. Для них было радостью и удачей, когда они туда проникали.

Выждав удобный момент, когда часовой, стоявший на посту у ворот, смотрел в сторону или занят был ка-

ким-нибудь своим делом, мальчики быстро пропшыгивали мимо него и тут же устремлялись вперед, подалее от часового, в свои самые заповедные и любимые места казарменного двора.

Одним из таких заповедных мест было стрельбище. Оно находилось в дальнем углу двора. Совсем близко туда подойти было нельзя, но и в некотором отдалении от стрельбища, на подходах к нему можно было найти неубранные стреляные гильзы, а иногда даже боевые винтовочные патроны.

Гильзы мальчики использовали потом для всякого рода игрушечных поделок, а патроны разбирали на части, высыпали из них порох и с его помощью устраивали не совсем безопасные, но зато радующие душу огневые потешные игры.

Другим заповедным местом в казарменном дворе была кухня. Она находилась в первом этаже казарменного дома, за решетчатыми окнами, и из этих окон вкусно пахло сытными солдатскими щами. Запах щей привлекал Володю и его приятелей неодолимо. Они подолгу простаивали около кухни, переминаясь с ноги на ногу и оглядываясь по сторонам, пока сердобольные повара не протягивали им из окна, вопреки запретам, солдатские миски, доверху наполненные дымящимися щами. При этом повара говорили:

— Лопайте, ребята. На здоровье. Да поживее. Пока нас с вами никто не застукал.

Ребята ели живо. Даже весьма. И не только потому, что их об этом просили.

Чувствовали они себя постоянно голодными. Было тогда самое начало тридцатых годов. Трудное и голодное это было время. Трудно было и дома у Володи.

Он жил вдвоем с матерью, с Любовью Ивановной. Без отца. Отец был далеко от дома. И уже много лет.

Любовь Ивановна, не имея профессии, чтобы как-то заработать деньги на жизнь, работала вначале

простой галошницей на фабрике «Красный треугольник». Потом по самоучителю выучилась печатать на пишущей машинке — печатать слепым методом — и стала работать машинисткой.

Володина мать еще до революции успела окончить шесть классов гимназии и была хорошо обучена правилам орфографии и пунктуации. Это помогло ей стать хорошей машинисткой. Но машинистки тогда зарабатывали мало. Заработной платы не хватало на самое необходимое. Не хватало иной раз на хлеб. Любовь Ивановна подрабатывала дома. С великим трудом скопив деньги, она купила старенькую машинку не то английский, не то немецкого образца и после работы выполняла на ней частные заказы.

Приходила домой Любовь Ивановна в седьмом часу вечера. Наскоро проглатывала жиденький, без мяса, суп и пшенную кашу, приготовленные ею накануне, и садилась за машинку. И стучала на ней до поздней ночи, делая перерыв только для того, чтобы сбежать на кухню и состряпать еду на завтра. Состряпать какой-нибудь суп, заправленный постным маслом, и постоянное, фирменное домашнее блюдо — пшенную кашу, которая потреблялась все с тем же постным маслом.

А ночью, прежде чем заснуть, Любовь Ивановна плакала. Володя слышал, как она плачет. Она плакала о Володином отце и своем муже, Иване Андреевиче, которого любила и который сидел в тюрьме, а потом был в ссылке и в других местах, далеко от дома.

За что именно был посажен отец, Володя так никогда и не узнал толком. Не спрашивал об этом мать. Позднее, когда отец вернулся, постеснялся спросить и его. Что-то слышал, но смутное, неопределенное. То ли за нечаянный пьяный скандал и драку посадили, то ли еще за что-то.

Знал Володя только то, что получил отец два года тюрьмы, а после отбытия срока отца еще долго не пускали в Ленинград, и он продолжал жить вдали от семьи — сначала в Архангельской области, работая на лесосплаве, потом поближе к своей родине, под Тулой, потом в городе Луге, на «сотом километре» от Ленинграда.

Раньше, когда-то, еще в гражданскую войну, был Володин отец юным и бравым. Носил усы, которыми гордился, и воевал против белых в Красной Армии. Воевал он бесстрашно и в конце войны занимал уже должность командира эскадрона.

А после окончания гражданской Иван Андреевич как-то заплутал в своих дорогах. Думал устроить свою личную и общественную жизнь, но не все у него получилось. Не получилось с учебой. Поступил на рабфак, но поучился год и бросил. Искал для себя широкого поля деятельности, но не нашел и такого, которое хотя бы чуть-чуть его удовлетворило. И вот все вдруг оборвалось для него тюрьмой.

Володина мать, Любовь Ивановна, любила своего Ваню глубоко и безмерно. Была она некрасива, маленькая ростом, рыжая, и нос у нее был какой-то совсем маленький. Как такую можно полюбить мужской любовью? Такой вопрос, глядя на мать, задавал себе иногда Володя. Стыдился, что такое приходило на ум, стыдился, что о матери так думал, но ничего с этим не мог поделать: мысли и вопросы приходили сами собою, помимо его воли.

Самое главное, что так же, как и Володя о ней, думала о себе и сама Любовь Ивановна. Разве ее можно полюбить? И то, что ее взял себе в жены высокий и худой человек с усами и боевым прошлым, человек, которого она почитала красавцем, наполняло ее душу гордостью и чувством не заслуженного ею счастья.

Эти чувства питали ее любовь, а когда два мили-

ционера увели Володиного отца из дома, питали также и ее горе. Горе было большим и безутешным. Любовь Ивановна никогда, кроме как ночами, не позволяла себе расслабиться, но душа ее постоянно болела. Болела ее душа о муже и дома, и на улице, и на работе, и все время, когда она стучала на своей машинке.

Она любила и сына. Но любовь ее к сыну была как-то спокойнее, и внешним образом она почти никак не проявлялась. Может быть, это потому так было, что сын был рядом и, главное, он был у нее по праву. По ее законному, материнскому праву. Любовь Ивановна никогда не ласкала сына, не называла его Володенькой. Она была с ним сдержанной и почти сухой. Только вот работала на него. Сверх всех своих сил для него работала.

В конце 1934 года Володин отец вернулся домой. Бритый наголо, с обритыми усами. Любовь Ивановна встретила его счастливыми слезами и улыбкой умиления. Эта улыбка долго не сходила с ее лица. Она делала лицо Любви Ивановны еще некрасивее, но даже если бы Любовь Ивановна это заметила и знала, какая ей была разница! Разве она когда-нибудь думала о собственной красоте?

Иван Андреевич вернулся домой совсем больным. До тюрьмы и долгой отлучки он не знал, что такое болезни, а теперь совсем ослаб. Это было заметно по нему. Он и всегда был худ, а тут худоба его дошла до крайности. И краснота на лице была как будто лихорадочная, нездоровая.

Сразу, как вернулся, Иван Андреевич поступил было на завод работать. Проработал около двух месяцев — и не выдержал. Не хватало сил. Как он ни противился этому, пришлось пойти к врачам. Врачи послали на комиссию. У Ивана Андреевича признали туберкулез в третьей, последней стадии. Ему дали инвалидность. Вторую группу. По этой группе полагалось

Ивану Андреевичу 130 рублей пенсии, и это были все деньги, которые мог теперь иметь Володин отец.

Он совсем стал мрачным и глубоко затосковал. Он был гордым и никак не мог смириться с тем, что и после его возвращения все заботы о семье должна будет нести Любовь Ивановна. Что можно было тогда сделать на его мизерную пенсию, на 130 рублей? Мучаясь и тоскуя, раздираемый противоречивыми чувствами и мыслями, Иван Андреевич поступил со своей пенсией самым неожиданным образом.

В первый раз, когда он ее получил, он не принес денег домой. Вместо денег он принес купленный на них патефон с заводной ручкой и большую пластинку, на которой был записан романс модной в те времена певицы Изабеллы Юрьевой.

Иван Андреевич сразу же поставил на большой обеденный стол (это был единственный стол: и обеденный, и письменный, и для всяких других надобностей) патефон, на патефон — пластинку и привел патефон в действие. С пластинки раздался громкий, дребезжащий, надрывный женский голос:

Улыбнись, мой милый,
Не сердись, мой милый,
Поцелуй, мой милый, меня...

Молча слушал Иван Андреевич пластинку. Молча и замороженно слушала ее и Любовь Ивановна. Слышал и Володя.

Отец Володи и во второй, и во все последующие разы пенсии домой не приносил. Он покупал на пенсионные деньги патефонные пластинки. Так уж у него повелось. Все новые и новые пластинки, разные, с женскими и мужскими голосами.

Как иные заглушают свое горе и жизненную неполноту водкой, так отец Володи заглушал их пластинками. Он накопил целую гору пластинок, а потом

слушал их по многу часов подряд, слушал их, не уставая и забываясь.

Но среди множества пластинок самой любимой оставалась для Ивана Андреевича первая. С романсом Изабеллы Юрьевой. Ее сразу же и навсегда полюбил и Володина мать. Она, кажется, полюбила ее еще больше, чем отец.

Володина мать, Любовь Ивановна, совсем не сердилась на мужа за то, что он не давал на домашние расходы свою пенсию. Ей даже и в голову не приходило сердиться. Она только еще больше брала работы на дом и радовалась тому, что ее Ваня нашел утешение своей душе.

А ночами Володиной родители подолгу разговаривали. Комната, в которой они и Володя жили, была довольно большая, около 30 квадратных метров. Она была разделена широким платяным шкафом на две неравные части. В одной, меньшей, стояла кушетка, на ней спал Володя. По другую сторону шкафа стоял стол, между двумя окнами — зеркало, старинное и довольно красивое, и кровать, на которой спали Любовь Ивановна и Иван Андреевич.

Володя поневоле слышал ночные разговоры отца и матери. Перегородка не сплошная и не слишком плотная — как не услышать! То, что он слышал, вызывало у него щемящую жалость и боль, и Володя подолгу не мог уснуть уже после того, как затихали голоса за шкафом.

Отец говорил матери:

— У меня такое ощущение, как будто я совсем пропал. Стою на краю обрыва и каждую минуту могу свалиться. Все пропало, все. Ничего у меня не получилось. Вся жизнь наперекосяк. Так многого хотел. И не вышло. И никогда не выйдет. Страшно мне, Люба.

Мать шептала в ответ:

— Не нужно так, Ваня. Ты такой хороший. Ты

добрый. Ты мой самый красивый и самый сильный. Я горжусь тобой. И ты помни: у тебя есть мы. Есть я. Есть Володя.

Снова голос отца:

— В юности, еще тогда, когда воевал, я мечтал стать инженером. Я мечтал окончить институт. А вместо этого оказался под судом, потом тюрьма, этапы. От чего я больше всего страдал там, в тюрьме, в ссылке, на этапах?! Не от того ли, что трудностей боялся? Не потому. Не потому, что с семьей разлучили. Я не мог никак примириться с тем, что мечта моя разрушилась. Вот от этого невыносимо было. Я раз даже на жизнь свою покушался. Да, Люба, до такой крайности дошел. Шли мы на лесосплав, на Крайнем Севере это было. Уже вечерело. Гляжу, колодец в стороне. Тут у меня и блеснуло. Как молнией обожгло. Не могу больше, кончать надо. Заполыхало сердце. Бросился я к колодцу, уже ногу в колодец занес, тут кто-то из ребят заметил меня, оттащил.

— Ваня, Ваня, милый ты мой, Ваня! — шептала Любовь Ивановна. — Если бы ты знал, как я люблю тебя!

— Тебе не понять, Люба, — говорил Иван Андреевич, — какой порой ад я ношу в себе. Знать, что все кончено. Что мне недолго осталось жить. А я ведь еще совсем не старый. Но я болен. Я неизлечимо болен. Я ведь знаю, что такое туберкулез третьей стадии. И все мысли такие мрачные. Разные и все мрачные.

— Я все понимаю, мой дорогой, мой любимый Ваня, — говорила в ответ Любовь Ивановна. — Я все, все, что в тебе, понимаю. И умоляю тебя, не думай о плохом. Ты еще долго будешь жить. И ты поправишься.

— Я вот о чем хочу тебя просить, — перебивал ее муж. — Когда я умру, ты все сделай, чтобы Володя закончил школу. Как ни трудно тебе будет, сделай. И

пусть поступит в институт. Пусть хоть он будет инженером, и в нем сбудется моя мечта.

После целого дня и вечера, проведенных за машинкой, Володина мать, наверное, очень уставала. Не могла не уставать. Но она не подавала виду. Она со всем вниманием слушала душевные излияния мужа, вставляла слова сочувствия, искала слова, чтобы поддержать его, но никогда не останавливала, не говорила, что хочет спать.

Только однажды — Володя был тому свидетелем — Любовь Ивановна не выдержала, оказалась не на высоте. В самый разгар ночных признаний мужа она заснула. Володя слышал даже легкое всхрипывание матери.

Услышал его и Иван Андреевич. Он окликнул Любовь Ивановну, и в его голосе послышалось безмерное удивление:

— Ты спишь, Люба? Ты заснула?

— Что ты, что ты, Ваня? — тут же проснулась Володина мать. — Я вовсе не сплю. Тебе показалось. Хочешь, я повторю то, что ты только что сказал?

И странно, и удивительно — она повторила. Слово в слово повторила последнюю произнесенную мужем фразу.

А по воскресеньям, ради Вани, она позволяла себе не стучать на машинке. Справившись со страпней и стиркой и с другими неотложными домашними делами, она садилась рядом с Иваном Андреевичем за стол, и они заводили патефон и слушали пластинки. И чаще всего слушали они свою любимую:

Улыбнись, мой милый,
Не сердись, мой милый...

Из дешевенького скрипучего патефона на всю квартиру звучал процыганенный голос Изабеллы Юрьевой. Рядом с патефоном сидели на стульях очень близко

друг к другу Иван Андреевич и Любовь Ивановна и молчали и слушали, затаив дыхание, слушали. И кто знает, что было тогда у них на душе?

А может быть, так было: при звуках полюбившегося им романса утешались их души, и думы их в те минуты были тихими и легкими.

В отличие от отца и матери Володя не любил романс Юрьевой, ему вообще не очень нравились пластинки, которые покупал отец.

К тому времени, когда появились пластинки, Володя заметно подрос. Не только годами и ростом, но и понятиями. Он давно уже не играл с товарищами в детские игры. Не стремился побывать в семеновских казармах, не устраивал потешных пороховых салютов. Даже его сердечная дружба с Шуриком Баскаковым как-то потускнела, хотя Шурик жил в той же квартире, что и Володя.

Почти все время он отдавал книгам. Не просто книгам, а серьезным. Читал их запоем. Из-за них позволял себе иногда пропускать школу. Делать это ему было нетрудно, потому что родители его мало обращали внимания на его школьные дела. К тому же учился он достаточно хорошо.

К книгам приохотил его сосед по квартире. Станный, чудной это был человек. Квартира, в которой жил Володя, была большая, многосемейная. Пять комнат — пять семей. Все комнаты располагались по одну сторону длинного коридора, который вел в кухню. В коридоре часто появлялся этот человек — в шинели, накинутой на белую нательную рубаху, в белых подштанниках, в туфлях-шлепанцах на босу ногу. Это была его постоянная форма. В таком виде он навсегда запечатлелся в Володиной памяти.

Сосед этот был из «бывших». До революции он был полковником. Говорили даже, что полковником Генерального штаба. И фамилия его казалась Володе

соответствующей его полковничьему званию — Переверзев. Переверзев Федор Яковлевич.

Полковника Переверзева в квартире боялись. Чем-то мрачным и пугающим веяло от его фигуры. Он ни с кем никогда не разговаривал, не всегда здоровался, а если здоровался, то только молча, едва заметным кивком головы. И исключительно со взрослыми.

Нельзя сказать, что на мальчиков, Володю и Шурика, полковник совсем не обращал внимания. Очень даже обращал. Но он постоянно гневался на них и никогда не сдерживался в своем гневе. То мальчики слишком громко разговаривали. То они, как ему казалось, без всякой надобности занимали телефон. То слишком долго сидели в уборной.

Особенно доставалось от него Шурику. Шурик был живее и проказливее Володи. Но и Володю полковник не щадил. Володя был уверен, что полковник ненавидит их — и его, и его друга.

Тем более был удивлен Володя, когда однажды полковник Переверзев, встретив его в коридоре, пригласил к себе в комнату. Комната полковника была самая крайняя, в дальнем конце коридора. В ней Федор Яковлевич жил вдвоем с женой Ниной Дмитриевной.

Нина Дмитриевна тоже была из «бывших», была дворянкой. Но по ней это было совсем незаметно. Тихая, робкая даже, она с раннего утра и до вечера была в отсутствии, на работе. Работала простой работницей на «Красном треугольнике». На той же фабрике, на которой работала и Любовь Ивановна.

По всей видимости, Нина Дмитриевна тоже, как и Любовь Ивановна, преданно и нежно любила своего мужа. Своего полковника. Она работала, чтобы прокормить себя и его. А полковник не работал. То ли не брали его на работу, то ли просто не хотел.

В отсутствие жены Федор Яковлевич Переверзев

большую часть дня проводил в своей комнате. Совсем один. И как, должно быть, тоскливо ему было.

Вот в такую минуту, во время своего одиночества, полковник и позвал к себе Володю.

— Садись, — сказал он Володе после того, как они вошли в комнату. — Садись вот на этот стул. Ближе к окну. Я хочу на тебя посмотреть. Тебя зовут Владимиром? Я хочу взглянуть тебя, Володя. Ты боишься меня?

— Нет, — не сразу ответил Володя. — Теперь я не боюсь.

— Значит, все-таки боялся. Спасибо за правду. И хорошо, что ты понял, что бояться меня не нужно. Я хочу тебе добра. Хочу познакомить тебя с моими книгами. С великой русской литературой.

Комната полковника была вся уставлена книгами. Мебели почти не было — одни книжные полки, этажерки. Необъятное море книг. Это вызывало чувство трепета и восторга. От этого кружилась голова.

К такому книжному богатству Володя не привык. В собственной комнате Володи книг было совсем мало. На единственной этажерке, на верхней полке, предназначенной для книг, лежали рядом купленные когда-то отцом тоненькая брошюрка под названием «Боевые дни» Олейникова, в которой описывались революционные события, и «Дневники» Родзянко — толстая книга, с портретом автора на заглавной странице. Портрет был впечатляющим. Он поражал больше всего округлостью и обширностью лица и фигуры. Были еще и «Сказки братьев Гримм». И все.

Книги полковника были большей частью старинные, нарядные, в красивых переплетах. От них исходил едва уловимый, но цепкий запах. Володе казалось, что это запах вечности. И это тоже производило сильное впечатление.

Полковник поднялся со стула, достал с полки книгу в красном переплете и протянул ее Володе. Книга была тяжелая, со вставными портретами разных важных лиц в парадных мундирах и со звездами. Полковник объяснил:

— Это Жуковский. Ты читал его стихи? Знаешь? Он написал «Певца во стане русских воинов» и много других прекрасных стихов. «Светлану», «Теона и Эсхина». Он перевел «Одиссею» Гомера. Эти стихи нужно знать. Их нужно учить наизусть. Их нужно помнить, они должны звучать в тебе, и тогда они помогут тебе в жизни, в самые трудные минуты.

Хорошие стихи учат доброму. Все настоящие поэты были добрыми людьми. Вот и Жуковский был очень добрым человеком. Он много хорошего сделал людям. Пушкину. Баратынскому. Очень многим. Ты возьми эту книгу с собой и читай ее внимательно и учи побольше наизусть. А когда ты вернешь ее мне, я дам тебе самого Пушкина. Великого и несравненного. Это ничего, что ты знаешь его по школьным урокам. На самом деле ты его еще совсем не знаешь. И никто не знает его всего, до конца. Пушкина исчерпать нельзя. В нем все концы и начала русской литературы. В нем для русского человека самая большая радость и самая глубокая мудрость.

Полковник много и долго говорил в тот раз с Володей. О литературе. О жизни. О нем самом. Не все из того, о чем говорил полковник, Володя одинаково хорошо понимал. И не все принимал сердцем и разумом. Не принял, например, совет полковника завести дневник, записывать в специальную тетрадку свои мысли о прочитанном. Какие еще тетрадки, какие мысли, какие записи, когда так много нужно прочитать!

И книги, которые давал полковник, не все одинаково нравились и были понятны Володе. Когда после Пушкина он получил томик Баратынского, то вернул

его полковнику очень скоро. Полковник ни о чем не спрашивал Володю, он просто огорчился. Он явно переоценил возможности Володи.

Но он не отказался от усилий приобщить Володю к миру прекрасного. Он продолжал давать Володе все новые и новые книги. Тургенева, Достоевского, Лескова. И все чаще задерживал Володю в своей комнате и вел с ним беседы.

Было ясно, и чем дальше, тем больше, что полковник не просто спасался с Володей от безмерного своего одиночества, но и постепенно душевно привязывался к нему. У Федора Яковлевича Переверзева не было собственных детей. И он говорил Володе и учил его тому, чему мог бы и хотел научить своих детей, если б они у него были.

Он говорил с Володей не только о литературе, но и о живописи. Говорил о музыке. Достаточно ли Володя слышал произведений Бетховена, Моцарта, Глинки, Мусоргского, Чайковского? Нужно больше и чаще слушать такую музыку — убеждал Володю полковник. В такой музыке истинная красота, она воспитывает духовность в человеке и делает его чище и выше.

— Ты был когда-нибудь в филармонии? — спросил полковник Володю. — В филармонию ходить нужно. И возможно чаще. Только там можно услышать настоящую музыку.

Через два дня после этого разговора Федор Яковлевич вручил Володе билет. На концерт под управлением молодого дирижера Евгения Мравинского. Билет на хоры, входной. Без обозначенного места. Вручая его, полковник сказал без обычной для него суетности в голосе, кажется даже чуть смущаясь:

— Я попросил Нину Дмитриевну купить его для тебя. Я знаю, что у тебя и твоих родителей нет денег. Мы тоже не богачи. Но, я полагаю, мы можем себе это позволить.

Полковник еще несколько раз передавал Володе купленные Ниной Дмитриевной билеты в филармонию.

Однажды Володя, беседуя с полковником о музыке, как бы невзначай спросил его, как тот относится к певице Изабелле Юрьевой. Полковник не понял или сделал вид, что не понял:

— Юрьева? Кто такая?

— Певица. Модная. Пластинки с ее записями очень трудно сейчас достать.

— Я не знаю такой певицы,— возразил полковник.— Я знаю Нежданову. Знаю Обухову. Когда-то в молодости я наслаждался голосом Вари Паниной. Юрьеву не знаю.

— Мне тоже не нравятся романсы Изабеллы Юрьевой,— сказал на это Володя.

В скором времени прекратились Володины беседы с полковником. Его не стало больше в квартире. Он уехал. Уехал вообще из Ленинграда.

А жена его, Нина Дмитриевна, осталась. Она и прежде была близка с Володиной матерью. И не только потому, что жили они в одной квартире, были соседями и работали на одной фабрике. Еще и что-то другое, более важное, внутреннее и сокровенное связывало их друг к другу. Теперь, после отъезда полковника, они стали еще ближе, еще дороже друг другу.

Только Любви Ивановне, а также мужу ее и сыну доверила Нина Дмитриевна тайну, которую от всех других скрывала. Федор Яковлевич Переверзев не по своей воле покинул Ленинград. Его выслали. Как неработающего и классово чуждый элемент. То, что бывший полковник царской армии был классово чуждым элементом, Володе было понятно. Никаких неясностей по этому поводу у него не было. Но все же ему было жаль Федора Яковлевича. Очень жаль.

Странное дело, когда полковника Переверзева не стало уже рядом с ним, Володя все чаще и чаще вспо-

минал то, о чем говорил ему полковник. Вспоминал его суждения, оценки, наставления. И в отсутствие Федора Яковлевича эти суждения и наставления приобретали в Володином сознании все больший вес и значение. Они становились для Володи знаком истины.

Как-то в выходной, уже после отъезда Переверзева, Володя застал мать за слушанием пластинки Юрьевой. Любовь Ивановна сидела одна, отец куда-то ушел — при отце Володя не посмел бы сказать того, что скавал. Володина мать сидела за столом, подперев руками подбородок, на столе вертелась и пела пластинка, и глаза Любви Ивановны были затуманены. Она была вся в музыке. Она слушала, погрузившись в то, что пел ей голос Изабеллы Юрьевой.

Вот тогда-то Володя и сказал своей матери:

— Мама, милая. Ты не сердись. Но зачем ты заводишь все время эту пластинку? Ведь есть же другая музыка. Настоящая. Возвышающая душу. А эта, поверь мне, не настоящая, это мещанская, пошлая музыка. Как ты не поймешь?

Любовь Ивановна вздрогнула. Поднялась со стула, дрожащими руками, почти машинально остановила патефон, потом обратила к сыну свое испуганное лицо и тихо, очень тихо сказала:

— Прости. Я действительно не понимаю. Ты знаешь лучше меня. Ты стал таким взрослым. Таким умным и серьезным. Я горжусь тобой. — И еще раз повторила: — Прости.

И лицо ее становилось все более испуганным, все более виноватым и жалким. И Володе показалось — и тогда, и много лет спустя, когда вспоминал он эти минуты, — что его мать лишь с большим трудом сдерживается, чтобы не разрыдаться.

Больше при Володе пластинку Юрьевой не заводили. Ни мать. Ни отец. Вообще при Володе старались никаких пластинок не заводить.

А Володиному отцу между тем делалось все хуже. Он начал сильно кашлять. Завел баночку с крышкой, без которой не мог обойтись. Эту баночку он постоянно носил с собой.

Его одеждой были несменяемый серый пиджак и защитного цвета галифе — наследие и память боевой молодости. Боевыми, однако, его галифе уже не выглядели. Особенно теперь. Теперь они совсем обвисли, и можно было подумать, что они вот-вот упадут.

Чем труднее было Володиному отцу, тем с большей нежностью относилась к нему Любовь Ивановна. Ее любви к мужу не было предела.

— Ты не отчаивайся, Ваня,— говорила она Ивану Андреевичу.— Отчаиваться никогда не нужно. Я это знаю. Я на себе проверила. У тебя все еще будет хорошо. Ты верь мне. У меня легкая рука.

И такая сила любви, такая вера были в ее словах, что всегда хмурое лицо Ивана Андреевича прояснялось.

— Спасибо, Люба,— говорил он.— Ты единственная моя надежда. Ты самая моя единственная.

И гладил своей костистой рукой маленькую руку Любви Ивановны. Один раз. И еще раз. И неожиданно улыбался. И говорил:

— Не волнуйся. Все будет хорошо. Я тоже верю. Жив еще курилка!

Шел тогда 1939 год. В этом году Володя простился с отцом. Простился и с отцом и с матерью. Но с отцом — навсегда. Больше он его не увидел.

В том году Володя окончил школу, десять классов, и был призван в армию. Всех десятиклассников тогда призывали. По специальному приказу, подписанному народным комиссаром обороны Ворошиловым. Это было вызвано необходимостью, тревожным положением в мире. На Западе, в Европе, уже началась большая война.

Эшелон с группой призывников, в которой находился и Володя, отправлялся с Московского вокзала. Провожал Володю отец. Мать, как всегда, работала и на вокзал прийти не смогла.

Отправления эшелона пришлось ждать долго. Поезд почему-то задерживался. Володя и его товарищи прождали на вокзале почти целые сутки. И все это время отец Володи был с ним. Откуда только взялись у него силы!

Иван Андреевич почти не говорил с сыном. Он смотрел на него, и этого ему было довольно. Он видел, что сын был рядом с такими же, как он, юношами, разговаривал с ними и смеялся, что он выглядел таким же молодым, красивым и мужественным, и это вселяло в его сердце чувство удовлетворения и радости.

Прощался он с сыном без слез, без объятий. В последнюю минуту крепко, по-мужски пожал ему руку. Никаких слов не говорил. А когда тронулся поезд, не выдержал, долго бежал за вагоном, задыхаясь, кашляя, поддерживая рукою опасно спадающие галифе.

В первые два года своей службы, еще до войны с Германией, Володя получал письма, которые писал отец. Получал их часто. Никогда Иван Андреевич так много не разговаривал с сыном, как в письмах.

Письма были обстоятельными и неизменно бодрыми. По письмам можно было даже подумать, что у отца все в порядке. Он позволял себе шутить, радовался успехам Володи по службе, радовался тому, что Володя закалился, много трудится физически, что он преуспел в умении водить боевую машину и обучился приемам штыкового боя.

О себе Иван Андреевич писал меньше. Совсем мало.

А когда началась война, сперва наступил продолжительный перерыв в переписке, а потом Володя получил письмо, написанное матерью. Немцы, писала

мать, находятся на подступах к Ленинграду, положение тревожное, но они с отцом решили никуда не уезжать. Отцу, как тяжелобольному, предлагали эвакуироваться, но он решительно отказался. Просил принять его в ополчение. По болезни отказали. Тогда он начал работать в какой-то дружине, принимал участие в уборке улиц, дежурил ночами, охраняя здания от вражеских зажигательных бомб.

Ее же перевели работать машинисткой в Смольный. Работы очень много, и она очень ответственная. Но в Смольном таким работникам, как она, дают дополнительно к обычному пайку двадцать граммов масла. Это масло она сама не ест. Она приносит его отцу. Ему ведь оно нужнее.

Во втором письме, полученном Володей, мать сообщала, что отцу вдруг стало совсем плохо. Работая на улице, он упал, потерял сознание. То ли от голода, то ли от своей болезни. Его отправили в Мечниковскую больницу. Теперь она ходит каждый день к отцу в больницу, приносит ему половину своей пайки хлеба и кусочек масла. Ходить ей трудно. Путь большой, а она тоже ослабла. К тому же у нее стало плохо с глазами. Непонятно отчего. Может быть, из-за работы на машинке, а может быть, от недоедания. Но ходить она должна. Это ее долг. Она должна спасти отца.

Третье письмо от матери Володя получил в марте 1942 года, когда лежал в госпитале в Орджоникидзе, после первого своего ранения. Письмо было датировано концом января:

«Здравствуй, Володя. Я должна сообщить тебе горькую новость. Твой отец и мой дорогой и бесконечно любимый муж Иван Андреевич умер. Его уже нет. Три дня я не ходила к нему в больницу, потому что была очень слаба. А на четвертый день пришла, и его уже не было. Мне сказали, что он похоронен в братской могиле, а где находится эта братская могила, никто

сказать не мог. Я никогда себе не прощу, что он умер без меня. Я не приходила три дня, целых три дня,— может быть, поэтому он умер. Я никогда себе этого не прощу. А ты, Володя, прости меня».

Странные чувства испытал Володя, получив это письмо. Смерть отца и опечалила его, и в некотором смысле внутренне освободила. Война и трудные военные испытания не ожесточили Володю, но сделали его умнее сердцем. Он понял, как любил его отец. Понял, что в нем отец лелеял осуществление собственной несостоявшейся мечты. И он знал, чувствовал, какой трагедией, катастрофой была бы для отца весть о его, Володиной, гибели.

Теперь, если Володя и погибнет, отец об этом не узнает. Мысль об этом служила Володе облегчением. Тем более что Володя никак не мог рассчитывать, что вернется с войны живым. Это было просто маловероятным. Это даже было бы чудом. Чудом потому, что Володя воевал в самых опасных местах. Там, где убивают. Там, где в живых остаются редко.

После первого своего ранения и излечения в госпитале он воевал на Кавказе. Был морским пехотинцем. Выходил из окружения недалеко от города Туапсе, а потом ходил в штыковую атаку под Новороссийском. Под Новороссийском он оставался в строю всего два дня. К исходу второго дня его ранило.

Раненого, его везли на телеге, потом на грузовой машине в ближайший госпиталь. Его перевозили из одного госпиталя в другой. Из Сочи в Гагры, потом в Сухуми, из Сухуми — в Ереван.

В Ереване его долечили и отправили снова на фронт. На этот раз — на Западный. Его сделали командиром 45-миллиметрового противотанкового орудия, которое стреляло по танкам и пехоте противника прямой наводкой. Солдаты это орудие называли «прощай,

родина». Провоевать с этим орудием долго тоже было невозможно.

Третий раз его ранили у речки Рисава, в болотах под городом Ельней, знаменитым в летописях Отечественной войны. Ему снова повезло. Пока что он остался жить. Ранение дало ему новую отсрочку.

В госпиталь он попал тыловой, в город Вологду. Пролежал в нем несколько месяцев. Последнее время, пока он воевал на смоленской земле, он не получал от матери писем. Может, они просто не доходили. Мудрено было получить письмо из блокадного Ленинграда, да еще в условиях, когда сам вместе со своей частью постоянно перемещаешься.

В Вологде же он получил одно за другим два письма. Мать беспокоилась о нем, узнав из его письма, что он опять ранен. Спрашивала, куда и как, не опасно ли. О себе писала, что ей совсем трудно стало работать и, наверное, с работы придется уходить. Плохо с глазами, не различает букв. Печатать на машинке уже не может.

Вообще она стала не та. Нет сил и не те возможности. И еще — память об отце, никак не может его забыть. Не может примириться с тем, что никогда больше не увидит. Неужели она и сына больше не увидит? Ведь она так слаба.

Из вологодского госпиталя Володю выписывали в самом начале 1944 года. В запасной полк, путь откуда снова лежал на фронт. Перед выпиской Володя пошел к начальнику госпиталя. Просил дать ему отпуск хотя бы на три дня. Объяснил все. Сказал, что он ленинградец. Рассказал об отце и матери.

Начальник госпиталя, седой майор медицинской службы, оказался добрым человеком. Он выслушал Володю и, ничего не говоря, стал выписывать ему бумагу об отпуске. Он не только предоставил ему отпуск,

но и помог устроиться в товарном поезде, направлявшемся в Ленинград.

В такой знакомой квартире на Рузовской улице в Ленинграде, куда приехал Володя на три дня, все показалось необычным, пустынным и совсем безлюдным. Одни соседи эвакуировались из Ленинграда, другие умерли от голода, погиб на фронте Володин друг Шурик Баскаков.

Из всех соседей осталась в квартире только Нина Дмитриевна Переверзева. Она работала теперь не на галошной фабрике, а на оборонном заводе. И жила с Любовью Ивановной. Вместе, вдвоем они жили.

В большой квартире — теперь она казалась особенно большой, — в длинном большом коридоре, когда-то плотно заставленном шкапами, а сейчас совсем пустом, гулко и тревожно отдавались шаги, когда Володя шел в свою комнату.

Комната выглядела тоже пустынной. Не было старинного красивого зеркала. Не было платяного шкафа. Не было Володиной кушетки. Все это пошло на топку в блокадные зимние дни и ночи.

Целым во всей комнате оставался только большой дубовый стол. На столе стоял знакомый патефон. А рядом со столом, на единственном оставшемся стуле, в беспорядке лежало несколько патефонных пластинок.

Мать была дома, в комнате, лежала на кровати. На шум шагов встала, беспокойно озираясь вокруг. Сына она сразу не узнала, точнее, не увидела.

Когда увидела, протянула ему руки — сухие, трясущиеся руки — и сказала:

— Как хорошо, что ты приехал, Володя. Ты надолго? У тебя все в порядке? — И она стала своими маленькими, худенькими руками ощупывать Володю: его лицо, руки, тело. — Ты прости, я не вижу. У тебя все цело? Ты скажи, не скрывай от меня. Я ведь и сама знаю, что на войне люди часто остаются без рук

или без ног.— И тут же, точно испугавшись чего-то, стала извиняться перед Володей за патефон: — Ты уж извини. Не обращай внимания. Он у меня все время теперь стоит. Ничего не могу с собой поделать. Пока Нина на работе, я все время пластинку слушаю. Ту самую. Которую мы с Ваней любили. Она мне его напоминает. Ты извини. Я знаю, я помню, ты ее не любишь...

Володю что-то толкнуло прямо в сердце. Сдавило горло. Он подошел к матери, с трудом справляясь с волнением, сказал:

— Это ты прости меня, мама. Я очень перед тобой виноват.

А потом он среди других пластинок отыскал ту самую и поставил ее, и в пустынной комнате хрипло и сильно зазвучали слова:

Улыбнись, мой милый,
Не сердись, мой милый,
Поцелуй, мой милый, меня...

И они вместе слушали — Володя и его мать. Не только слухом, но сердцем слушали. И в первый раз за войну, может быть даже в первый раз за свою сознательную жизнь, Володя плакал.

А через два дня он уехал. Оставил матери и Нине Дмитриевне продукты, которые у него еще сохранились. Просил Нину Дмитриевну смотреть за матерью, не оставлять ее.

На прощание Любовь Ивановна поцеловала сына сухими спекшимися губами. И Нина Дмитриевна поцеловала. Быстрыми пальцами перекрестила и сказала:

— Спаси тебя Христос, мой мальчик. Возвращайся живым.

Для Володи это было последним прощанием с матерью. Через два месяца после его отъезда она умерла.

Нина Дмитриевна не смогла усмотреть за ней. Как бы она могла усмотреть!

Она только сама, своими руками закрыла ей глаза, когда однажды, вернувшись с работы, нашла ее уже неживой. А на другой день, утром, свезла ее тело на санках на братское кладбище.

А у Володи все вышло неожиданно хорошо. Он вернулся после войны в свой дом. Вернулся за месяц до окончания войны. Весь израненный, на костылях, но уцелевший, живой. Такое вот чудо случилось.

Нина Дмитриевна вручила ему ключ от комнаты. Вошла с ним вместе в комнату и, указав рукой на стол, на патефон, все так же по-прежнему стоявший на столе, указав на пластинки, произнесла чуть слышно, почти шепотом:

— Вот это, мой мальчик, все, что я сумела для тебя сберечь...

Володя тоже решил сберечь. Он тогда же принял решение — решение как клятву — сохранить навсегда, как самую дорогую память, и старый тот патефон, и ту пластинку, которую так любили мать и отец.

И он хранил.

После войны он пошел работать, а со временем окончил институт, как хотел того отец.

Когда пришло время, он полюбил милую девушку и женился на ней. У него появились дети: сын и дочь. Он старался научить детей добрым чувствам и хорошему вкусу. Приохотил их к чтению книг лучших писателей, вместе с ними слушал музыку Чайковского и Моцарта, Баха и Мусоргского.

Пластинку Изабеллы Юрьевой он никогда не заводил и о ней им не рассказывал. Но для себя берег ее свято.

А иногда, когда оставался совсем один, в самые сокровенные и дорогие минуты, он слышал в себе громко и внятно, без патефона и пластинок, знакомые и

памятные слова и музыку романса Юрьевой. И такая тогда теплая волна на него находила. И с этой волной приходили мысли о самом важном.

Ему открывались в те минуты тайны и человеческие глубины и неизъяснимая никакими словами правда. Правда о его отце и его матери. Правда о людях: об их надеждах, об их ошибках, об их страдании и любви.

Теорема Ферма

Если другие теоремы, записанные Ферма на полях книги и недоказанные им, впоследствии были доказаны другими математиками, то теорема о равенстве $a^n + b^n = c^n$ в общей форме никогда и никем впоследствии не была ни доказана, ни опровергнута, несмотря на то что целый ряд крупнейших математиков пытался это сделать. Так эта теорема, известная в математике под именем теоремы Ферма, и осталась загадкой.

*(Из книги А. А. Колосова
для внеклассного чтения по математике)*

Почему мне так хочется о нем написать? Наверное, не потому только, что он был моим другом. Есть что-то особенное и значительное в его судьбе. Меня она всегда наводит на мысли о самом важном: о человеке, о стране, о людях моего поколения. И еще, когда я слышу эти любимые мною, высокой гордости слова: «жив, курилка!», я знаю: это и о нем они, о моем чудаковатом и милом товарище юности Алеше Слепухине, который так и не успел доказать теорему Ферма, хотя и доказал бы ее непременно, случись все в его жизни иначе.

Он пришел к нам в школу сразу в третий класс. Урок уже начался. Прошло минут десять с начала

урока, когда дверь классной комнаты внезапно закрипела, отворилась и в нее как-то боком, с некоторою неловкостью вошел рослый мальчик в футболке и серых широких штанах, в больших очках и с большим портфелем в руке. Он сделал несколько шагов и остановился напротив учителя:

— Меня зовут Алеша. Алеша Слепухин,— сказал он.— Мне можно сесть?

Наш учитель был совсем юным. Студентом. Он учился на инженерно-физическом факультете Политехнического института. Он спросил Алешу:

— Профессор Слепухин, случайно, не доводится тебе родственником?

— Доводится,— отвечал мальчик.

— Кем же он тебе доводится?

— Он мой папаша.

— Профессор Слепухин — мой учитель,— сказал наш учитель и зоркими торжествующими глазами оглядел класс. А потом снова повернулся к Алеше: — Ты почему опоздал, малыш?

— Я не малыш,— возразил Алеша как-то сразу погустевшим и чуть хрипловатым голосом.— А опоздал я потому, что проспал.

Мы все дружно рассмеялись. Учитель призвал нас к спокойствию. И тут же указал Алеше на его место. Место в последнем ряду, на задней парте, рядом со мной.

— И обязательно завяжи шнурки на ботинках,— добавил учитель.

Почему учитель решил посадить Алешу на заднюю парту? Ведь он был в очках. Он явно был близоруким. Естественнее было бы усадить его поближе. Но учитель решил так, а не иначе, и благодаря такому решению мы с Алешей стали соседями, а очень скоро и друзьями. И на долгие годы.

Подойдя к парте, Алеша положил на пол портфель, а потом уже сел. Но не прямо, а боком ко мне, лицом к проходу, меня как бы не замечая. Он наклонился почти до полу и стал не спеша зашнуровывать свои ботинки. Долго и старательно зашнуровывал. И только тогда, когда закончил эту работу, сел прямо, повернул ко мне свое лицо в очках и громко, громче, чем это положено во время урока, сказал мне:

— Итак, как вы уже слышали, меня зовут Алеша. А вас как зовут, мистер?

Он во всем — и в словах своих, и в поведении, и во внешности — был особенным, ни на кого не похожим. Лицо его было заметно скуластое, сверху широкое, книзу, к подбородку, сужающееся. И глаза у него казались чуть-чуть суженными. Особенно за большими очками. Серые, умные, временами слегка лукавые узкие глаза.

Может быть, именно за эту форму глаз Алешу и прозвали в классе Китайцем. Прозвище быстро и прочно укоренилось за ним. Его называли так не только одноклассники, но и ученики других классов.

Прозвище Алеша принял без обиды. Он как будто был даже рад этому прозвищу. И очень скоро построил на нем свою общественную позицию, свою систему взглядов, свою своеобразную философию.

Понятие «китаец» стало для него выражением всего положительного, всего того, что должно приветствовать и любить. Китаец — это хорошо. Плохо — японец. Поскольку японцы напали на Китай и пытались завоевать китайские земли, японцы и стали для Алеши воплощением всего отрицательного. Само слово «японец» звучало для него как слово непристойное. Таковы были главные установки игры, в которую Алеша играл, не признавая, что это игра. Играл со всею серьезностью.

Если кто-нибудь хотел поддразнить Алешу, доста-

точно было назвать его «японцем». Услышав это, Алеша бледнел и сразу же переходил на самые высокие тона:

— Что вы сказали, мистер? Сейчас же отказывайтесь от сказанного. Иначе вам будет плохо.

В тех случаях — довольно редких, — когда не следовало немедленного извинения, не следовало «отказа от сказанного», Алеша бросался в бой. Был он физически очень крепким, а в драке еще и отчаянным, и многие в подобных случаях спешили вовремя извиниться.

Впрочем, были и такие, которые упорствовали. К числу упорных принадлежал, например, наш одноклассник Шура Клименко. Он тоже был из породы чудаков и тоже был драчлив и силен. Кроме того, он с ранних лет славился своими необыкновенными познаниями в области русской истории. Алеша тоже в русской истории кое-что понимал. Словом, Алеша и Шура были во всех отношениях достойными противниками.

Противниками и приятелями. Их постоянно влекло друг к другу. Им было о чем побеседовать. Они любили беседовать. Но это совсем не отменяло их мальчишеского соперничества.

Их беседы начинались обыкновенно самым мирным образом. И они были весьма глубокомысленными. Но постепенно становились все более громкими и шумными. Мирные беседы, как правило, кончались воинственными возгласами, криками, прямым сражением.

— Если ты так считаешь, то ты никакой не «китаец», а настоящий «японец»! — кричал Шурик.

— Отказывайтесь немедленно от сказанного, мистер! — кричал в свою очередь Алеша.

— И не подумаю отказываться. Еще и еще раз повторю — «японец»!

— А вот я вам сейчас покажу, какой я «японец»!

— Сними-ка поскорее очки,— предлагает Шура.

Впрочем, если говорить правду, дрались они не так уж часто. С некоторых пор дракам они предпочитали соревнование в ловкости и физической сноровке. Физическую силу и ловкость они не только ценили, но и старательно вырабатывали в себе. Они рано, раньше, чем все остальные, стали готовить себя для грядущей борьбы с фашизмом и всякими угнетателями народов.

Школа у нас была знаменитая. Знаменитая больше всего своими помещениями, своими длинными коридорами, своими парадными залами с дорогими люстрами. Находилась она на Фонтанке, между Чернышевым и Аничковым мостами. Когда-то, до революции, здесь располагалось Петровское коммерческое училище. Купцы, попечители этого училища, видно, не жалели для него денег. Они очень заботились о его украшении. Они украсили, в частности, длинные коридоры барельефами на античные сюжеты, расположенными высоко на стенах.

Вот эти-то барельефы и решили использовать Алеша и Шура в своих соревнованиях в физической ловкости. Это было уже в то время, когда мы учились не то в шестом, не то в седьмом классе. Мальчики приходили в школу вечером, когда в школе почти никого уже не было, и упражнялись в прыжках: старались допрыгнуть до барельефов, и как можно выше, желательно до одной из самых высоких точек барельефа, притом до самой выдающейся точки — до носа.

Однажды они так увлеклись этим делом, что, прыгая, нечаянно зацепили щит с расписанием, и щит тут же, как-то очень уж легко и совершенно неожиданно, развалился. Как нарочно, случился где-то неподалеку завхоз. Он прибежал на шум и, не принимая никаких объяснений, записал фамилии мальчиков. При этом он обещал, что пожалуется директору.

Так он и сделал. Директор у нас был славный, двух метров в высоту, за что ученики называли его Каланчой. Без злобы, любовно называли. Кроме того, что он был директором, он преподавал у нас историю. На его уроках всегда было интересно и весело. Интересно, потому что он многое знал, а весело, потому что у него было такое веселое выражение, которым он постоянно пользовался, — «в том числе»: «внутренние враги, в том числе внешние»; «Чернышевский, в том числе Добролюбов». Случайно у него так получилось или он это нарочно чудачил — трудно сказать.

Алешу и Шуру директор хорошо знал и хорошо к ним относился. Принимая во внимание обширные исторические познания обоих мальчиков, иначе и быть не могло. Но проступок есть проступок, и директор решил быть строгим. Как все добрые от природы люди, он никогда не упускал возможность проявить, когда это нужно и можно, всю видимость строгости.

Мальчиков вызвали в кабинет к директору прямо с урока. Кончился урок, начался другой, а мальчиков все не было. Они явились только к самому концу другого урока. Оба красные, прямо как из бани.

Едва дождавшись перемены, Алеша сказал мне не без торжественности:

— Стучал кулаком по столу, грозился выгнать из школы. Вот видите, мистер, как нам попало. Каланча был на высоте. — И добавил, протягивая мне свой дневник: — Посмотрите, что он там написал мне.

Я взял дневник и посмотрел. Писал директор не Алеше, а отцу его:

«Уважаемый Алексей Алексеевич! Довожу до Вашего сведения о недопустимом поведении Вашего сына. Ваш сын вместе со своим приятелем Александром Клименко, находясь в школьном коридоре в вечернее время, прыгали до носов статуй с целью их уничтожения. Занимаясь этим недозволенным делом, Ваш

сын в том числе разбил имеющий большую ценность учебный щит...»

— Каково? — спросил Алеша, когда я кончил читать. — Вы усекли, мистер, как пишет Каланча? Вы думаете, это он серьезно пишет: «прыгали до носов статуй с целью их уничтожения», «в том числе»? Это он просто хочет доставить удовольствие моему папаше. Вы помните, мистер, я всегда вам говорил, что у нашего директора добрая душа и в сущности он прекраснейший человек.

Я тогда поразился неожиданному ходу мыслей Алеши. Он оказался хорошим знатоком не только истории, но и человеческой души. И очень тонким критиком текста. Во всяком случае, с его выводами относительно директора и директорской записи в дневнике я не мог не согласиться.

Круг интересов и познаний Алеши был необыкновенно широк. С течением времени для меня это становилось все более очевидным. Однажды, не специально, а проходя, как будто между прочим, Алеша спросил меня:

— Как вы относитесь к музыке, мистер?

Я сказал, что хорошо отношусь, хотя, по малости своих собственных познаний в музыке, не совсем в этом был уверен.

Но Алеша принял мои слова с прямою верою, без тени сомнений. Он продолжал меня расспрашивать:

— Разумеется, вы любите классическую музыку?

Я сказал, что разумеется.

— Кого из композиторов вы предпочитаете?

— Бетховена, — ответил я, потому что имя Бетховена мне было знакомо чуть больше, чем имена других композиторов.

Алеша заметно обрадовался:

— Это хорошо, мистер, у нас с вами одинаковые вкусы. Я тоже люблю Бетховена. Помните, как удиви-

тельно звучит его «Лунная соната»? Мне больше всего нравится в ней финальное аллегро. Вы согласны со мной, что такая музыка не может не нравиться? «Лунную сонату» порядочно играет моя мамаша. Когда вы в следующий раз придете ко мне в гости, мы попросим мамашу сыграть ее для нас.

Через несколько дней после этого разговора Алеша завел беседу о Вагнере. Тут я откровенно признался, что Вагнера не знаю.

Алеша был великодушен:

— Это вы скромничаете, мистер. Впрочем, я тоже с музыкою Вагнера знаком только понаслышке. Вы, конечно, знаете, что из опер Вагнера самая знаменитая «Кольцо нибелунга». Это, собственно, не одна опера, а четыре: «Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов». Эти оперы сейчас ставят в нашем Театре оперы и балета. Вы знаете, мне пришла в голову хорошая идея. Нам нужно с вами пополнять наше образование. Настоящий «китаец» должен быть образованным человеком. Почему бы нам с вами не пойти в Театр оперы и балета и не послушать оперы Вагнера?

Я охотно согласился пополнить свое образование и сходить с Алешей в театр. Мы пошли с ним на «Гибель богов». Перед этим Алешина мамаша, Нина Васильевна, узнав о нашем решении и обрадовавшись ему, купила Алеше новый костюм и новую белую рубашку. О своей покупке она Алеше до поры до времени не говорила, справедливо полагая, что он ее может не одобрить.

В тот день, когда мы должны были идти в театр, за час до условленной нами встречи в нашей коммунальной квартире на Рузовской улице, где я жил, раздался телефонный звонок. К телефону звали меня. Мне звонила Алешина мама.

— Женя,— сказала мне Нина Васильевна,— у

меня к вам большая просьба. Уговорите Алешу надеть новый костюм. Он собирается в театр идти в своих ужасных штанах и в своей футболке. Уговорите его, пожалуйста. Он вас скорее послушает, чем меня.

В трубке я услышал какой-то шум и какие-то помехи, а потом раздался в ней такой знакомый мне голос Алеши:

— Мм... Мм... Я слышал, как вас уговаривала моя мамаша. Ничего у вас не выйдет, мистер. И не пытайтесь.

Он пришел в театр в своих обычных серых брюках и в такой же обычной футболке. Места наши были на галерке, на самом верхнем ярусе. Я предпочел эти места по соображениям экономическим, Алеша же по более принципиальным — с галерки открывается самый обширный угол зрения, и именно поэтому истинные «китайцы» всегда предпочитают галерку.

Слушал музыку Алеша замечательно. Очень сосредоточенно. Как-то по-особенному серьезно. Ничем и никак не отвлекаясь. Он был весь в музыке, в звучащих голосах; мне казалось, что он обо всем забыл, кроме музыки, что он забыл о том, что я сижу рядом с ним, что я вообще есть...

А в антрактах и после окончания оперы он делился со мною своими впечатлениями. Он отмечал, что ему понравилось в опере и что не понравилось, о том, как звучал оркестр и как звучали отдельные голоса. Слушая его, я ему завидовал. Мне хотелось вот так же все понимать, как он, так же со знанием дела говорить, просто, естественно, быть таким же образованным, как он.

Мы ходили с ним не только в оперу, но и в филармонию на концерты прославленного Ленинградского филармонического оркестра. Мы ходили на концерты, которыми дирижировали Гаук и молодой Мравинский и другие знаменитые и незначительные дирижеры. А по-

том стали посещать спектакли Большого драматического театра, расположенного на Фонтанке.

В Большой драматический театр нас водил актер этого театра Ларикив. Его сын Егорушка Ларикив учился в нашем классе, и мы дружили с ним. Так и ходили в театр втроем. Старший Ларикив усаживал нас на лучшие места в партере, а потом уходил на сцену. Мы же, оставшись одни, тут же перебирались на галерку. На этом настаивал Алеша. Вначале Егорушка протестовал, но вскоре смирился. Алеша убедил его, что истинным «китайцам» галерка подходит больше. Вообще, дружа с нами, Егорушка Ларикив постепенно тоже обратился в «китайскую веру».

В Большом драматическом театре в те времена ставились самые различные пьесы. Но нам особенно нравились спектакль «Слуга двух господ». На представление этой пьесы мы ходили три или четыре раза. И каждый раз с новым вниманием и интересом следили за забавными приключениями, которые представлялись на сцене.

При этом мы много смеялись и радовались с Егорушкой. Алеша тоже радовался, но вслух не смеялся. Он был серьезнее нас. У него только глаза за большими очками еще больше сужались от удовольствия.

В главной роли в спектакле играли попеременно то Монахов, то Лаврентьев. Мне Монахов нравился больше. Может быть, потому больше нравился, что имел звание народного артиста республики. Алеша же предпочитал Лаврентьева, хотя тот был всего заслуженным деятелем искусств. Алеша утверждал, что в игре Лаврентьева больше свободы, больше обаяния, больше импровизации. Званиям Алеша не придавал большой цены.

Не соглашаясь с Алешей, я тем не менее с большим уважением относился к его мнению. В своих суждениях Алеша всегда, и в этом случае тоже, был

независим, и у него на все была своя собственная точка зрения. Что же касается меня, то я хорошо понимал, что у меня ее не было.

Однажды, после спектакля, поздно вечером мы шли по набережной Фонтанки и обсуждали просмотренную нами пьесу. Немножко говорил я, немножко Егорушка, но больше всех говорил Алеша. Он говорил не только больше нас, но и умнее нас. Он коснулся не только пьесы, которую мы только что посмотрели, но и искусства театра вообще. Он снова настаивал на том, что для театра необходима импровизация, максимальная свобода и непосредственное творчество в актерской игре. С разных сторон обосновывая свою мысль, Алеша неожиданно предложил нам:

— А что, мистеры, если вам попытаться самим поставить спектакль? Вы уже хорошо к этому подготовлены, вы прекрасно разбираетесь в театральном искусстве. Вы гораздо лучше меня разбираетесь. И я заметил в вас определенные актерские данные. Не вздумайте только отпираться.

Алеша говорил в обычной своей манере, и я не придавал большого значения его словам. Его предложению. Тем более что никаких актерских данных в себе не чувствовал. А Егорушка сразу загорелся. Егорушка недаром был сыном актера. Он сразу же подхватил слова Алеши и очень скоро начал действовать.

Мы все начали действовать. Для первой своей постановки мы выбрали «Тома Сойера» Марка Твена. Правда, пьесы такой не было, была повесть под названием «Том Сойер», но мы сочли, что это даже лучше. Мы решили написать небольшой сценарий по повести, наметить в нем основное направление и главные узлы и повороты действия, а в остальном положиться на импровизационные способности актеров.

Предполагалось — это уж само собой разумеется, — что актерами будем мы сами и наши товарищи по

классу. Правда, один из нас — и это был Алеша — сразу же и наотрез отказался быть актером. Он готов помогать нам писать сценарий, но актером быть никак не может. Не видит в себе актерских данных. В нас видит, а в себе не видит.

Мы с Егорушкой настаивали, но не слишком долго и не слишком всерьез. В общем-то мы понимали, что актер из Алеши совсем никакой. Кроме того, мы очень опасались возможных импровизаций Алеши. Что, если он в роли какого-нибудь из твеновских героев возьмет да и скажет, и ведь непременно так скажет: «Что вы сказали, мистер? А ну-ка отказывайтесь немедленно от сказанного!»

Алеша не хотел играть в пьесе, но он принимал самое деятельное участие в обсуждении всех деталей ее постановки. Решающее участие он принял, в частности, в распределении ролей. «Тома будет играть Егорушка Лариков», — предложил он. И все с ним согласились. Это было так естественно и справедливо. Для меня он счел самой подходящей роль индейца Джо.

Самым трудным было решить, кто будет играть Бекки Тетчер. Казалось, какие тут могли быть трудности? Ведь у нас была Зиночка Гуторова. Она была самой красивой девочкой в нашем классе. И она могла хорошо сыграть Бекки. Но Алеша решительно воспротивился тому, чтобы поручить Зиночке сыграть эту роль. Почему же он воспротивился?

Я и теперь очень хорошо, живо помню нашу Зиночку. Уже в самых первых классах она была очень мила. Пышные светлые волосы. Большие голубые глаза.

В первых классах за ней часто приходила ее мама. Очень похожая на Зиночку, только взрослая. Такая же светловолосая и голубоглазая. Иногда она приносила с собой пирожное и угощала им Зиночку. Зи-

ночка брала пирожное своими длинными тонкими пальчиками и маленькими кусочками, не спеша, откусывала его. Я, затаившись где-нибудь поблизости, смотрел на мать и дочь. Я глотал слюну, восхищался и смотрел не отрываясь. Я был влюблен в Зиночку. И не только в первых классах.

Мы все — все мальчики нашего класса — были в нее влюблены. Влюблены каждый по отдельности, по-особенному, и все вместе. Наша совместная любовь усиливала каждую отдельную и особенную любовь. Относилось ли это к Алеше?

По отношению ко всем девочкам вообще Алеша проявлял крайнюю застенчивость и, я бы даже сказал, пугливость. При виде девочки он краснел, страшно смущался и шептал что-то неслышное нам. Когда он видел Зиночку, особенно если она была близко, он краснел до чрезвычайности и уже не шептал, но выпускал уголками рта большое количество воздуха. Он выглядел в такие минуты совсем несчастным.

Но свое нежелание видеть Зиночку в роли Бекки Тетчер он объяснил чисто теоретически и притом достаточно убедительно. Настоящие «китайцы», утверждал он, не должны допускать девочек к участию в театральном спектакле. В Китае не допускают. В Китае, в классических китайских театрах, женские роли всегда играют мужчины.

Кажется, все это было отчасти похоже на правду. И мы согласились с доводами Алеши. Мы решили поставить свой спектакль силами одних мальчиков. Пусть все девочки будут зрителями. Так даже лучше. Что же касается Бекки Тетчер, то ее будет играть наш одноклассник Аркаша Ильясов, мальчик весьма красивый и, следовательно, вполне подходящий для того, чтобы играть девочку.

Премьера нашего спектакля состоялась на квартире у Егорушки Ларикова. Потом мы не раз повторяли

нашу постановку в нашем школьном актовом зале. Но в первый раз сыграли ее у Егорушки.

Егорушка жил на Стремянной улице, недалеко от нашей школы. Жили они вдвоем с отцом. Мать Егорушки умерла, когда он был еще во втором классе. Квартира Лариковых была большая и нарядная. На стенах висело множество картин и фотографий Ларикова-отца и знаменитых артистов.

Самая большая комната в квартире была размером около тридцати квадратных метров. Здесь и было оборудовано подобие театрального помещения. Одна половина комнаты — сцена. Другая — места для зрителей. Расстояние между сценой и зрительным залом было совсем небольшое, с полметра, не больше.

В зрительном зале на собранных со всей квартиры стульях сидели наши девочки. И с ними сидел единственный мальчик — Алеша. Алешу посадили в первый ряд в самом центре. И Зиночку посадили в первый ряд, тоже в центре. Они сидели рядом. Как это вынес Алеша, почему он не протестовал? Я думаю, это потому, что он слишком был поглощен мыслями о спектакле. До другого ему просто не было дела. Ведь как-никак, а спектакль был его духовным детищем.

Это был радостный и памятный для нас вечер. Все были очень возбуждены, все были на подъеме — и актеры и зрители. Среди актеров особенно выделялся Егорушка Лариков. У него оказался прирожденный талант актера. В его Тома Сойера нельзя было не поверить. Он был живым, естественным, подлинным во всех своих действиях, движениях и жестах, в словах. Егорушка чувствовал себя в роли Тома свободно, он не боялся уходить в сторону от той сюжетной канвы, которая была намечена в нашем сценарии, много импровизировал — и всегда удачно.

Прелестна была Бекки Тетчер. Порою ее голос сбивался, становился похожим на мальчишеский, но это

делало ее еще прелестнее. Позднее, в одном из повторных спектаклей, который проходил в нашем школьном актовом зале, в нашу Бекки влюбился оказавшийся в числе зрителей мальчик из старших классов. Узнав об этом, мы хохотали и радовались и поздравляли Аркашу Ильясова с таким несомненным для него успехом.

Что касается меня, то я тоже играл неплохо. Я основательно и серьезно готовил свою роль. Чтобы быть похожим на индейца, я слегка смазал лицо темной краской и раздобыл большие медные, в форме колец серьги, которыми я должен был, как настоящий индеец, украсить свои уши. На первом спектакле, в суете и волнении, в последний момент я забыл надеть эти серьги. Естественно, что это помешало мне сыграть роль индейца еще лучше, еще правдоподобнее, чем я ее сыграл.

Играли мы свой спектакль и для себя, и не менее того — для девочек. Все мы очень хотели отличиться перед ними, понравиться. И больше всего, конечно, Зиночке.

Это было очень заметно по ходу спектакля. Егорushка Лариков, играя Тома и объясняясь в любви Бекки, смотрел при этом на Зиночку и именно к ней обращал самые сильные и проникновенные свои слова. В какой-то момент, произнося имя Бекки Тетчер, он даже упал на колени перед Зиночкой, благо расстояние от сцены до Зиночки было совсем никакое.

Признаться, я тоже старался работать на Зиночку. По Марку Твену и по нашему сценарию, индеец Джо оказывается владельцем большого кривого ножа. Такой нож был и у меня, и я в пылу восторга (что никаким сценарием не предусматривалось) сильно размахивал им в опасной близости от Зиночки.

После окончания спектакля девочки нам долго хлопали. Самых больших похвал заслужил Егорushка.

Его окружили, жали ему руки, кокетничали с ним. Единственная, кто забыл его похвалить, была Зиночка, хотя именно ее похвалы он ждал больше всего.

Зиночке не то что не понравился наш спектакль, игра Егорушки. Просто она была занята другим делом и другими мыслями. Сразу же, как только окончилось представление и в комнате зажегся свет, она обратила свою хорошенькую головку к Алеше и сказала ему:

— Алеша, так, значит, ты все время сидел рядом. Как я рада. Правда-правда. Ты очень славный, Алеша. Ты хороший.

Алеша даже вздрогнул от неожиданности, весь зарделся и, выдув из себя уголками губ большое количество воздуха, сказал:

— Мм... Мм... Хороший... Что вы этим хотите сказать, мистер?

До шестого класса я слыл среди одноклассников лучшим математиком. Я довольно хорошо и быстро решал задачи. Я знал в математике чуть больше, чем другие ученики. Этого было достаточно, чтобы иметь звание первого.

Но с шестого класса вдруг все изменилось. Лестное свое звание я потерял. Сразу и навсегда. Случилось вот что.

Наш учитель алгебры и геометрии Борис Ильич был человеком среднего роста, очень худым и сильно кучерявым. К этим его свойствам добавлялась еще глубокая увлеченность своим предметом и большая рассеянность. Однажды он предложил нам контрольную, ни одно из заданий которой никто не мог выполнить и решить.

Точнее говоря, один человек только и решил. И этим человеком, к моему удивлению (да и к удивлению других тоже), оказался не я, а Алеша.

Позднее сам Борис Ильич рассказал нам, что он перепутал задания и дал нам те, что были предназначены для девятого класса. Чтобы решить предложенные нам задачи, нужны были знания, которыми мы не владели и не могли владеть. Самое любопытное заключалось в том, что и Алеша не владел. Он решил задачи, все до одной, каким-то своим, особенным, нетрадиционным способом.

Последнее обстоятельство больше всего восхитило Бориса Ильича. Восхищался он вслух, громко, можно даже сказать, с упоением.

— Друзья мои,— сказал Борис Ильич, обращаясь ко всему классу.— Среди вас оказался истинный математический талант. Запомните этот день. Талант — это великое слово, талант — это радость. И давайте все порадуемся за Алешу.

Мы все так и сделали. Мы радовались, смотрели во все глаза на Алешу и улыбались. Алеша же на нас не смотрел и, как казалось, совсем не радовался. Он отвернулся от нас в сторону, как всегда, когда его что-то смущало, красный, и выдувал уголками рта большое количество воздуха.

Через несколько недель после этого случая Алеша снова отличился. Он решил задачу, которую не смог решить сам Борис Ильич. В течение двух уроков кряду мы безуспешно пытались справиться с задачей, которую предложил нам учитель. Потом он сам взялся за дело, и у него тоже ничего не получалось. Борис Ильич был явно смущен. Он не без оснований считал себя хорошим математиком, а тут с ним случился такой конфуз. Забыв обо всем, забыв о нас, Борис Ильич орудовал у доски, писал, стирал, писал снова! Нервно взъерошивал свои кудрявые волосы — и ничего. Только поняв окончательно, что у него ничего не получается, он вызвал к доске Алешу.

Алеша шел к доске смущенный не меньше, чем

Борис Ильич. Но, видимо, совсем по другой причине, чем тот. Задачу, оказывается, он решил очень быстро, буквально за несколько минут. И стоял мрачный, почти несчастный. Что же до Бориса Ильича, то он на этот раз только и сказал: «Да-с». И развел широко руками — руками, с которых еще не успел стереть густые следы мела.

Слава об Алеше как замечательном математике разошлась по всей школе. К нему подходили старшекласники: одни, чтобы поговорить, другие молча рассматривали его как какое-то диво. Очень скоро стали подходить к нему с просьбой о помощи в особо трудных математических случаях. И при этом все меньше со временем стеснялись того, что просили помощи и совета не у старшего по возрасту, а у младшего, и намного младшего.

Я уже и не говорю об одноклассниках. Тут многое можно сказать. Ограничусь только одним. Когда в нашем классе бывали контрольные работы по математике, наша с Алешей парта превращалась в род почтового отделения. К нам поступало множество писем и записок. В адрес Алеши. И все с просьбой о помощи.

Как правило, Борис Ильич давал на контрольных не одинаковые для всех задания, а каждому отдельное или, в крайнем случае, несколько типов заданий. Таким образом, записки о помощи, приходившие к Алеше, были не однообразными и требовали от Алеши немалого труда и немалого времени. Тем не менее он никогда не отказывал в помощи. Я был уверен даже, что для других он еще охотнее трудился, чем для себя.

Был такой случай, когда, решая задачи для товарищей, Алеша так увлекся, что забыл о собственной контрольной. На следующий день, раздавая проверенные контрольные и объявляя результаты, Борис Ильич сказал: «На этот раз меня удивил и огорчил Слепухин. Он не справился с задачами и подал мне пустой

лист. Принимая во внимание его прежние заслуги, я ставлю ему не двойку, а единицу».

Конечно, Борис Ильич все хорошо понимал. Его единица и его порицание Алеше были для него чем-то вроде игры. И эта игра, при его более чем хорошем отношении к Алеше, доставляла ему радость.

Однако больше всех радовался полученной единице сам Алеша.

— Вот видите, мистер,— говорил он мне после того, как кончился урок, на перемене.— А вы еще говорили, что я хороший математик. Неудобно, мистер. Поскорее отказывайтесь от своего мнения.

А чуть позже, может быть годом или полутора годами позже, он сделал мне неожиданное предложение. Мы возвращались с ним из школы, как сейчас помню, по Лештукову переулку, шли не спеша, разговаривая, когда он вдруг, резко переменив тему, завел речь о незнакомой мне до той поры теореме Ферма.

— Вы, конечно, знаете, мистер,— сказал он мне чуть хрипловатым басом (у него уже к тому времени стал прорезаться этакий мальчишеский и вместе с тем достаточно мужественный басок),— кто такой Ферма? Как вам известно, это французский математик, живший в семнадцатом веке. Обнаружена одна его запись, которая привлекла внимание ученых. Из этой записи следует, что сумма одинаковых степеней двух целых чисел не может быть той же степенью третьего положительного числа. Исключение составляет лишь вторая степень. Вы хорошо знаете, что $3^2 + 4^2 = 5^2$. Для всех других степеней такое невозможно.

В записи Ферма нет доказательств. Все попытки ученых найти доказательства ни к чему до сих пор не привели. Вот мне и пришла в голову мысль, мистер. Не заняться ли теоремой Ферма нам с вами? Только не вздумайте возражать. Вы должны мне помочь, мистер, мы оба должны друг другу помогать. Вы ведь

лучше меня знаете математику. Без вашей помощи я непременно пропаду.

Слово «непременно» он произнес с такой интонацией, так протянуто, певуче, так музыкально убедительно, что для меня оказалось вовсе невозможным противоречить и отказываться. Конечно, я сам хорошо знал свои силы и отнюдь не переоценивал их. Я знал, что не мне равняться с Алешей в способностях и знаниях, что никакой теоремы Ферма я никогда не докажу. Но я все-таки принял Алешино предложение. Я просто не мог не принять.

С тех пор мы часто обсуждали с Алешей пути доказательства теоремы Ферма. Точнее, говорил и рассуждал Алеша, а я больше поддакивал или (что было реже) с чем-то не соглашался. Иногда Алеша показывал мне свои листочки, исписанные мельчайшим почерком, со сложными математическими выкладками, которые я добросовестно и напрягая все умственные силы старался понять.

Чтобы ускорить наши занятия и сделать их более успешными, Алеша предложил отвести для них специальный день. Один день в неделю. В этот день мы самовольно пропускали наши школьные уроки и занимались исключительно нашей теоремой.

Родители об этом не должны были знать. В отведенный нами для наших занятий день мы уходили из дому, как всегда, с портфелями и встречались на Витебском вокзале. Витебский вокзал мы выбрали потому, что именно оттуда дачным поездом можно было доехать до Павловска. Это Алеша выбрал Павловск в качестве места для наших ученых прогулок.

— Это один из самых приятных парков под Ленинградом, — объяснял мне свой выбор Алеша. — У меня нет никаких сомнений, что в этом парке наши мозги будут работать продуктивнее, чем в домашней обстановке. Кроме того, мистер, как вы сами понимаете,

здесь мы будем в совершенной безопасности и не встретим ни наших учителей, ни каких-нибудь других знакомых.

В Павловском парке мы совершали с Алешей многочасовые и дальние прогулки. Мы шли к берегу Славянки и, повернув налево, вдоль берега подходили к Двенадцати аллеям, а потом направлялись в глубину парка, в самые пустынные и прекрасные места, в район белых берез. Мы шли и все время говорили о теореме Ферма. Иногда мы говорили и на другие темы, но больше всего о нашей теореме. Это были очень памятные и, как уверял Алеша, очень полезные для дела прогулки.

Вскоре, однако, от них пришлось отказаться. Наши учителя и наш классный руководитель химик Иван Арсентьевич Варфоломеев не могли знать о наших поездках в Павловск, но они знали, что мы пропускаем занятия, и не одобрили этого. От специального дня, так хорошо Алешей придуманного, от наших павловских ученых бесед в конце концов остались у нас одни приятные воспоминания. Но это вовсе не значит, что мы оставили наши попытки доказать теорему Ферма. Над теоремой мы продолжали трудиться и ломать головы до самого окончания школы, вплоть до начала Великой Отечественной войны.

Приблизительно в то же время, то есть тогда, когда мы учились в шестом классе, произошли известные события в Испании. Начавшаяся в Испании гражданская война нас живо волновала. Мы стали регулярно читать газеты. Более того, мы с нетерпением ожидали свежих газет и свежих новостей. На переменах мы собирались у репродуктора, который был установлен в нашем актовом зале. Бегали в ближайший газетный киоск, находившийся на углу Чернышева переулка, и

покупали только что вышедшие газеты, и не по одному, а по несколько экземпляров. Известия, поступавшие из Испании, горячо обсуждались. При этом каждый успех республиканцев встречался нами с радостью и энтузиазмом.

В те дни ушел от нас директор школы — Каланча. Был назначен новый директор, а почему и куда ушел старый, мы не знали. Мы были так поглощены испанскими событиями, что, по правде говоря, не очень-то интересовались теми изменениями, которые произошли в школе.

Но вскоре до нас дошел слух, что наш старый директор не просто от нас ушел — он уехал в Испанию. Добровольцем. Комиссаром. А еще через некоторое время в одном из наших коридоров, высоко на стене, между двумя античными барельефами, был повешен портрет директора, заключенный в траурную рамку, и под ним большими буквами были подписаны его имя и фамилия: Владимир Васильевич Панфилов. И еще были даты его жизни. Оказалось, очень короткой жизни.

Мы были потрясены. Алеша сказал мне:

— Вот видите, мистер, я, как всегда, оказался прав. Наш Каланча, наш Владимир Васильевич был прекрасным человеком. — И к этому добавил совсем неожиданно: — А не поехать ли нам с вами тоже в Испанию? Там мы сможем принести больше пользы, чем здесь. Мы уже с вами в достаточно зрелом возрасте. Мы просто обязаны с вами принять участие в борьбе с мировым фашизмом.

Нам было тогда по четырнадцать лет. С нашим отъездом в Испанию, разумеется, ничего не вышло. Хотя мы и помышляли об отъезде всерьез и даже приняли кое-какие меры: обзавелись дорожными вещмешками, географическими картами юга Европы, стали собирать деньги на поездку.

Когда окончательно выяснилось, что с Испанией у нас ничего не выйдет, мы стали усиленно заниматься военным делом. В расчете на будущее. То, что нам придется воевать, не вызывало у нас никаких сомнений.

Военным делом занимались не только мы с Алешей, но и большинство наших мальчиков. Мы поступили в кружок радистов и старательно разучивали азбуку Морзе и изучали материальную часть радиопередатчика.

Мы записались также в стрелковый кружок и не пропускали в нем ни одного занятия. Алеша, несмотря на свою близорукость, скоро сделался отличным стрелком. Он стрелял даже лучше, чем Шура Клименко. Если Клименко выбивал из боевой винтовки по двадцать пять — двадцать шесть очков из тридцати возможных, то Алеша выбивал все двадцать восемь.

Был у нас и еще один кружок. Но кружок этот особого рода, что-то вроде общества. Его инициатором был все тот же Алеша. Это было общество последователей Рахметова.

Роман «Что делать?» Алеша прочитал еще в шестом классе. И очень увлекся его героями. Особенно увлекся Рахметовым. Прямо возлюбил его. И нам рассказал о нем.

А потом придумал и общество последователей Рахметова. В него вошли кроме нас с Алешей и Шуры Клименко еще несколько наших товарищей: Коля Петрайтис, Володя Аввакумов, Аркаша Ильясов. Иногда приходил на собрания общества и Егорушка Лариков, но он приходил лишь изредка, поскольку к тому времени всерьез увлекся театром и был одним из самых деятельных членов театрального коллектива в районном Доме пионеров.

Собирались мы на квартире у Алеши. Там было относительно свободно, там нам можно было уединиться, и там всегда старались нас хорошо накормить.

О том, чтобы накормить, заботилась Алешина мама. У нее для нас было традиционное фирменное блюдо: макароны с сыром. Блюдо весьма сытное, вкусное и редкое по тем не очень изобильным по части еды временам.

У Алеши была привычка есть макароны ложкой. Столовой ложкой. Поначалу я думал, что это так и полагается. Я тоже ел макароны ложкой. А Нина Васильевна, когда видела это, испуганно восклицала:

— Мальчики, никогда не берите пример с Алеши. Он все делает не так, как нужно.

И ее глаза на миг обращались на Алешу, и в них был не только испуг, но и нежность.

Как-то на заседание нашего общества рахметовцев я пришел первым и раньше назначенного времени. Открыла дверь мне Нина Васильевна. Алеша, видимо, не слышал моего звонка. Я застал его явно врасплох.

Алеша сидел на вертящемся круглом стульчике возле открытого пианино, спиной к нему, и, уставив свой указательный палец на толстого кота, сидевшего в углу комнаты, вел с ним беседу:

— Мм... Мм... Киска! Иди сюда. Ко мне. Не хочешь? Неудобно, мистер.— Он увидел меня и смутился: — Это вы? А я только что разбирал одну сонату Шуберта.— И добавил, повторил только что им сказанное, имея в виду при этом не то кота, не то меня, не то себя самого: — Неудобно, мистер.

Скоро пришли и остальные. На этот раз мы сразу приступили к делу. Мы стали говорить, высказываться и спорить.

Первым слово взял Алеша.

— Кто,— риторически спросил он,— может быть в наше время назван истинным последователем Рахметова? Только тот, кто готовит себя к борьбе с мировым фашизмом. Что нужно делать для этого? Заниматься только самым полезным и не тратить время и

силы на бесполезное. Гражданская война в Испании — это только начало. Предстоят еще более грозные сражения, и мы непременно должны будем принять в них участие. Как мы к этому готовимся?

Многие из нас занимаются радиodelом. Это хорошо. Это может пригодиться нам как полезная военная профессия. Мы посещаем стрелковый кружок. Это тоже хорошо и полезно. Солдат должен уметь стрелять. Но зачем некоторым юношам, недостойным звания «китайца» и рахметовца, понадобился кружок танцев? Никакой практической пользы он принести не может и ведет к одной только непристойности. Мы должны решительно осудить всех, кто посещает этот кружок.

К сказанному Алеша добавил, что истинный последователь Рахметова обязан закалять себя физически и никогда не произносить слова «японец». Кроме того, ему следует избегать общения с девочками, особенно с теми, которых называют хорошенькими и которые имеют обыкновение кокетничать с юношами и смущать их.

Шура Клименко задал Алеше вопрос:

— Каково отношение «китайцев»-рахметовцев к искусству?

— Смотря к какому искусству, мистер,— твердым голосом ответил Алеша.— А вообще оно нам не нужно.

— Как,— спросил я,— и Бетховен, и Вагнер, и Шуман не нужны?

— Именно,— сказал Алеша и посмотрел на меня с укоризной.— Бетховеном и Вагнером я уже не увлекаюсь. Свое временное увлечение ими считаю ошибками молодости. Музыка только мешает серьезным занятиям.

— Ты и литературу теперь отрицаешь? — спросил Коля Петraitис.

— Отрицаю,— подтвердил Алеша.— Кроме Чер-

нышевского. Его замечательного и в высшей степени поучительного романа «Что делать?».

— А как быть с наукой?

— Наука нам нужна лишь постольку, поскольку она помогает в нашей борьбе. Отвлеченная наука — чепуха. Человек, придумавший ложку, был гениальнее Ньютона. Во всяком случае, человечество ему больше обязано...

— Уж не поэтому ли, — прервал его Коля, — ты предпочитаешь ложку всем другим столовым принадлежностям?

Это было слишком несерьезным замечанием, и Алеша просто пренебрег им. Последовавший затем вопрос Шуры Клименко был серьезным и даже коварным, и Алеша волей-неволей должен был отвечать на него.

— Объясни нам, мистер, почему же ты сам занимаешься отвлеченными математическими проблемами? — спросил Шура.

— Исключительно для упражнения мозгов, — ответил Алеша.

— И над теоремой Ферма часами штаны просиживаешь тоже для этого?

— Откажитесь, мистер, от штанов, — заметил Алеша, после чего все же подтвердил высказанное Шурой предположение.

— Вот ведь как получается, — резюмировал Шура. — Наш дорогой «китаец» и рахметовец, наш многоуважаемый друг и наставник призывает нас заниматься только полезным, а сам, для упражнения мозгов, решает труднейшую теорему Ферма, которая никакой практической пользы принести не может, он разыгрывает на пианино бесполезные музыкальные пассажи. Как все это понять? По-моему, перед нами типичнейший случай расхождения теории с практикой. Говорит одно, а делает другое.

Шурины слова глубоко задели Алешу.

— Что ты сказал! — воскликнул он и сверкнул очками, потом на всякий случай снял очки и добавил грозно: — Отказывайся немедленно от сказанного!

Ради справедливости хочу заметить, что противоречие теории с практикой хотя и допускалось Алешей, но не так уж часто. Он действительно старался делать полезное. Никогда не произносил слова «японец». Сторонился не только хорошеньких девочек, но и всех девочек вообще. И при всем при этом усиленно закалял себя физически.

Прежде всего он отказался от пальто. Круглый год — и в самые сильные морозы — он приходил в школу в фуфайке (когда становилось теплее — в футболке) и в серых штанах, с непокрытой головой. Одно время, правда, в знак своей солидарности с испанскими республиканцами он носил на голове завезенную из Испании синюю шапочку с красной кисточкой. Но потом и от нее отказался. Ходил без шапки, наголо стриженный.

Однажды он пригласил меня снова проехать в Павловск. На этот раз не в день, когда были занятия, а в выходной. Мы поехали. Бродили по знакомым дорожкам. Набредли на сосновую аллею, всю заполненную хвоей и шишками. Алеша стал собирать шишки и засовывал их в широченные карманы своих брюк. Я не сразу понял.

— Зачем ты собираешь шишки? — спросил я. — Для чего они тебе?

Алеша удивился:

— Как это вы не догадались, мистер! Разве вы забыли Рахметова? Рахметов спал на гвоздях, чтобы испытать себя. До гвоздей я еще не созрел. Попробую вначале спать на шишках.

Пожалуй, единственным серьезным противоречием теории с практикой было у него занятие математикой. Он занимался ею еще больше, еще увлеченнее, чем

раньше. Поступил в кружок юных математиков в Доме пионеров, очень скоро выделился там и прославился. Занимался и самостоятельно по вечерам. Доказательство теоремы Ферма было по-прежнему одной из главных целей его жизни.

В девятом классе Алешу принимали в комсомол. По некоторым причинам день приема оказался для него днем великих искушений и немалых испытаний. Комсомольское собрание состоялось в актовом зале — в нашем школьном большом актовом зале, украшенном богатыми старинными великолепными люстрами.

Было большое стечение народа. Собрались не только школьники-комсомольцы. Были приглашены и пионеры старших возрастов. Пришли и многие из учителей. В президиуме сидел серьезный, еще вполне молодой человек, представитель Куйбышевского райкома комсомола.

Началось с доклада о международном положении. Доклад длился около часа. В нем говорилось, что международное положение очень тревожное. Это соответствовало действительности. Мы об этом знали и чувствовали это. Но доклад мы слушали вполуха, без интереса.

Затем объявили о приеме в комсомол новых членов. Это уже было интересно. Алеша был в списке принимаемых третьим. Первых двух приняли быстро. Мне даже показалось, что на них просто не хотели задерживаться, оставляя время на Алешу.

Наконец назвали его фамилию. Он встал. Снял очки, подышал на них, протер платком, снова надел. Из президиума зачитали его заявление, анкету. Предложили рассказать кратко свою биографию.

Мы думали, что он смутится, будет по обыкновению своему мекаль. А он не мекал, начал сразу же по-деловому.

Он начал с выражения сожаления. Хотя он и прожил на свете без малого шестнадцать лет, прямой пользы своему народу и своей стране он еще не принес. Об этом он считает своим долгом заявить собранию. О том, что он собирается принести пользу в ближайшем будущем, Алеша из скромности умолчал.

Не сказал он и о том, как у него с учебными делами, хотя об этом при приеме в комсомол полагалось говорить. Он, видимо, боялся провокации. Вдруг кто-нибудь из зала назовет его круглым отличником?

Круглым отличником его все-таки называли. Назвал наш классный руководитель Иван Арсентьевич. После того как Алеша ответил на вопросы по уставу комсомола и международному положению, Иван Арсентьевич попросил слова.

Он сказал об Алеше, что это юноша необыкновенный. Принять в комсомол его просто необходимо. Когда-нибудь, и он считает, что это будет скоро, мы еще услышим его имя и будем по праву гордиться тем, что принимали его в комсомол. Конечно, он юноша не без странностей, он немножко чужак, но это ничего, это даже хорошо. Он удивительно талантливый юноша. Одаренный блестящими математическими способностями, он равно успешно овладевает знаниями и по химии, и по истории, и по литературе. Достаточно сказать, что он единственный в классе круглый отличник.

Во время выступления Ивана Арсентьевича Алеша чувствовал себя совсем скверно. Он не имел возможности вмешаться и прекратить непристойные речи, но про себя (впрочем, не так уж и про себя) он безостановочно шептал: «Отказываюсь от слышанного... Отказываюсь от слышанного...»

Однако трудное для Алеши этим не ограничилось. Высказав все, что считал нужным, Иван Арсентьевич сел, и в то же время из зала кто-то задал вопрос Алеше. Вопрос совершенно неуместный, можно сказать,

даже провокационный: как Алеша смотрит на женскую половину рода человеческого? И считает ли он для себя возможным когда-нибудь влюбиться?

Это была не только провокация, но и явное оскорбление. Алеша не мог не возмутиться. Он позабыл, где находится. Он направил в сторону обидчика свой указательный палец, и на весь зал прозвучало его грозное: «Неудобно, мистер. Отказывайтесь сейчас же от своих слов. Иначе вам будет худо».

Все дружно рассмеялись. На лице серьезного человека из райкома комсомола в первый момент изобразилось недоумение, но к нему наклонились, что-то прошептали, и он тоже заулыбался одобряющей, снисходительной улыбкой.

В члены комсомола Алеша был принят единогласно. После собрания Алеша пригласил меня зайти к нему домой. Мы шли по Лештукову переулку, вышли на Владимирский, повернули к Большой Московской, на которой жил Алеша. Мы говорили о разном. О важном и неважном. О настоящем и будущем. А когда мы подошли уже совсем близко к дому, я вдруг вспомнил то веселое, что было на собрании, и решил поддразнить Алешу:

— А как же все-таки с женским вопросом, Алеша? Что ты можешь сказать в свое оправдание?

С женским вопросом у Алеши все оказалось значительно сложнее, чем я предполагал. Это стало для меня окончательно ясно на выпускном школьном вечере. Вечер был на редкость веселым, праздничным. Нам разрешили купить несколько бутылок шампанского, и это тоже способствовало праздничному настроению.

Мы пели, плясали, дурачились. Нам было хорошо. Все были тогда красивыми. Очень красивыми были

наши девочки. И особенно Зиночка. На ней было белое платье, и в ее пепельные волосы была вколота алая роза. Ее без конца приглашали на танцы. Она никому не отказывала. А ближе к концу вечера она подошла к Алеше.

Это произошло при всеобщем внимании. Все мы смотрели на Зиночку. Смотрели на Алешу. Установилась тишина. Зиночка подошла к Алеше совсем близко и сказала:

— Алеша, ты почему не танцуешь? Я хочу пригласить тебя танцевать. Только не отказывайся. Ведь, может быть, мы никогда больше не увидимся.

Алеша в первый раз в своей жизни не отвернулся, не стал выпускать ртом воздух. Его глаза, всегда узкие, стали вдруг большими, потемнели. Он долго смотрел своими этими глазами на Зиночку, прямо на нее смотрел, а потом сказал не шепотом, а громко, так, что все мы слышали:

— Мистер, спасибо вам за приглашение. Но я ведь совсем не умею танцевать. К сожалению, не умею.

Наш выпускной вечер состоялся 19 июня 1941 года. А через три дня после этого началась война. Все наши мальчики получили повестки в военкомат. 28 июня, через шесть дней после начала войны, Шура Клименко, Коля Петraitис, я и еще трое наших товарищей прошли медицинскую комиссию и были призваны в армию. Несколько дней нам дали на сборы.

Вечером 28-го ко мне зашел Алеша. Серьезный, торжественный. Он со всех сторон оглядел меня и напел, что я выгляжу в полном соответствии с новым своим положением.

— У вас вполне воинский вид,— сказал он мне.— И вам очень идет быть стриженным. Вообще, мистер, вы имеете все основания гордиться. Вам повезло. Вы еще раньше меня стали солдатом.

Я понял его чувства и постарался быть максимально великодушным.

— Ты не огорчайся, Алеша,— заметил я.— Не всем же быть солдатами. Тебя, конечно, в армию не возьмут из-за близорукости, но ты принесешь еще больше пользы здесь. Ты ведь прекрасный математик. Сейчас, когда началась война, стране так нужны будут прекрасные математики.

Алеша в этом месте перебил меня:

— Вы напрасно меня утешаете, мистер. И напрасно не доверяете моим способностям. Кстати, сегодня утром я тоже получил повестку.

— Но тебя не пропустит медицинская комиссия. Из-за зрения. Как же ты будешь воевать в очках!

— Так вот и буду,— возразил Алеша.— А медицинская комиссия вполне может и не догадаться, что у меня плохое зрение. Я, мистер, не терял времени даром. Как только по радио объявили о войне, я начал зубрить глазную таблицу. И недурно ее вызубрил. Вы только не рассказывайте об этом моей маме.

И помолчав ровно столько, сколько мне было необходимо для того, чтобы все понять и устыдиться, Алеша добавил:

— Вот видите, мистер, я всегда говорил, что нам скоро пригодятся наши знания в радиоделе и умение стрелять!

На другой день на врачебной комиссии Алешу тоже признали годным к военной службе. Не знаю, помогло ли Алеше то, что он вызубрил глазную таблицу, или просто время было такое, не до строгостей врачебных.

Алешу по его просьбе определили в ту же часть, что и меня и Шуру Клименко. Нас отправляли на фронт в самом начале июля. С Варшавского вокзала.

Вокзал был переполнен. Было шумно, душно, то и дело в вокзальной зале раздавались команды.

Товарный эшелон, в котором мы должны были отправляться, долго не подавали. Мы прождали на вокзале с самого утра и до позднего вечера.

Все это время с нами была Алешина мама. У нее было бледное, испуганное лицо. Очень несчастное. Видно было, что она страшно волновалась. Наверное, волновался и Алеша, но виду он старался не подавать.

Они почти не говорили друг с другом. Однажды только Алеша сказал, имея в виду мать, но обращаясь ко мне:

— Вы заметили, мистер, как беспокоится моя мамаша? Скажите ей, что этого делать не нужно. Не нужно волноваться. Мы все скоро вернемся. Разобьем врага и вернемся.— И добавил еще: — Скажите ей, мистер, что я буду писать ей письма. Я часто буду писать.

Перед самой отправкой эшелона, уже на перроне, Нина Васильевна не сдержалась. Сил у нее не хватило. Она крепко обняла Алешу. На Алеше была короткая, не по росту шинель, сильно потертая — так называемая б/у, бывшая в употреблении. Нина Васильевна уткнулась головой в шинель, а руками гладила сына по шее, по спине. Долго так. Долго не могла его отпустить. А потом, отпустив, сказала мне совсем слабым голосом: «До свидания, Женя. Дай вам бог. Возвращайтесь живым. И пожалуйста, я вас очень прошу. Последите за Алешей. Он у меня такой...»

Она не договорила, какой именно. Однако я все понял. Я сам все знал об Алеше. Само собой разумеется, что я обещал последить.

Но я не выполнил своего обещания.

Нас разгрузили на полустанке, где-то неподалеку от Луги. Долго мы шли куда-то по лесным дорогам и тропинкам. Дошли до края леса, где стояли длинно-

ствольные пушки и неровными рядами располагались землянки. Это было место нашего назначения, наша часть.

Нас построили, рассчитали по порядку, коротко сказали, кто мы теперь и что мы, и развели по землянкам. Для нас началась новая жизнь, которая в каждый последующий день, в каждый следующий час, каждую минуту могла кончиться.

Первую неделю мы занимались строевой подготовкой, рыли траншеи и окопчики для орудий, изучали матчасть: винтовку, полуавтомат, пушку, рацию.

Много было неопределенности и неизвестности в нашей жизни. Мы не знали, где находился противник. Этого не знал никто. То говорили, что он еще далеко, что его сдерживают наши передовые подразделения. То откуда-то приходили сведения, что немцы уже давно прорвали оборону и что они близко.

На второй или третий день после нашего прибытия в небе появились немецкие самолеты. Вначале «рамы» — «фокке-вульфы». Они часами кружили над нами, как будто им больше нечего было делать. Потом, после них, появились «мессершмитты». Они, летая на бреющем полете, обстреливали нас из пулемета, но еще чаще осыпали нас листовками. В листовках, написанных нарочито грубо и безграмотно, нам предлагали сдаваться и сообщали пароль.

Все мы возмущались содержанием листовок, а Алеша особенно.

— Боец Лобанов, — говорил он мне, — вы обратили внимание на стиль? Какая пошлость! Они совсем разучились думать и разучились писать. Они позабыли, что у них были Гете и Шиллер.

Новые, непривычные условия, военная обстановка, кажется, совсем не изменили Алешу. Он был все такой же, особенный, ни на кого не похожий, со своими особенными словечками и словесными оборотами.

Только слово «мистер» совсем пропало из его лексикона и было заменено словом «боец».

— Боец Лобанов, вы видите, как удирают восвояси «мессершмитты»? Они удирают потому, что они боятся. Они боятся, что их собьют. Я всегда говорил, что фашисты ужасные трусы.

Сам Алеша ничего не боялся. Я объяснял это себе его внутренней сосредоточенностью, его постоянной физической и умственной занятостью.

Он то чистил свой полуавтомат системы Калашникова. То копался в рации. То, когда для этого представлялась возможность, что-то решал, рассчитывал, как он сам это называл, «упражнял свои мозги».

Иногда, в минуты относительной свободы и затишья, он садился на пенек, вырывал из своего блокнота листок бумаги и мелким своим почерком исписывал этот листок, как говорится, вдоль и поперек. Затем вынимал из вещмешка изрядно помятый большой конверт (у него был запас таких конвертов) и клеивал в него листок. Конверт он тут же отдавал нашему полковому почтальону, и вид у него при этом был чуть-чуть растерянный и смущенный.

Я не спрашивал у Алеши, кому он писал свои письма. Я и без того знал кому — мамаше. Он умел быть верным данному слову. Он всегда и во всем держал свое слово.

В середине второй недели подтвердились самые тревожные предположения и слухи. Немецкие части быстро продвигались в сторону Ленинграда, и уже были они недалеко от нас. Для детального выяснения обстановки наш командир полка решил послать в район станции Серебрянка группу разведчиков. В эту группу в качестве радиста был включен и Алеша.

Свое назначение Алеша принял с гордостью и только чуть-чуть волнуясь. Волновался он из особого чувства ответственности.

— Боец Лобанов, что вы на это скажете? — обратился он ко мне. — Помните, вы утверждали, что мне не обязательно быть солдатом? Неудобно. Вы недооценили меня. Вы плохо обо мне думали.

Я ничего ему не ответил. Почему-то мне и в самом деле было неудобно.

Разведгруппа уходила на задание вечером. Это был совсем обычный вечер. Было тихо и нежарко. Прямо напротив нас, казалось совсем рядом, медленно опускалось оранжевое солнце. На небе, в той стороне, где заходило солнце, загорались краями облака. А рядом с нами, слева, темно блестело небольшое озеро.

Я подошел к Алеше проститься. Он был одет по-походному. Противогаз, сумка с патронами, полуавтомат.

— Я буду ждать тебя, — сказал я Алеше. — Желаю тебе удачи. Возвращайся с удачей.

Алеша протянул мне руку и, как всегда, очень сильно пожал мою:

— До свидания, боец Лобанов. Не скучайте. Я надеюсь, что вы в мое отсутствие непременно совершите что-нибудь выдающееся.

Разведчики во главе с капитаном, начальником полковой разведки, двинулись уже в путь, в сторону леса. Алеша тоже было поспешил за ними. Но с дороги вдруг вернулся, подошел ко мне совсем близко и проговорил быстро глуховатым голосом:

— Я совсем забыл вам сказать. Вы можете меня поздравить. Мне кажется, что я скоро смогу доказать теорему Ферма. Мы вместе докажем теорему Ферма.

Он на какое-то мгновение еще задержался, потом резко повернулся и пошел догонять своих товарищей. Я смотрел ему вслед. Он шел, высокий, крепкий, в короткой, выдавшей виды шинели, с тяжелой рацией за спиной. Я смотрел, пока он не скрылся в лесу. Больше я его не видел.

И никогда не увижу.

По улицам Пскова ходит человек. Я его часто вижу. Это человек необычный, заметный, с суровыми глазами.

Позднею весною и летом на нем форменная железнодорожная фуражка. И распахнутая кожаная тужурка — тоже форменная. Только не совсем понятно, какой именно формы.

Человек ходит молча, насупившись, время от времени выкрикивая:

— Л-лимань брал-ли! Р-россия! Р-родина!

Эти слова он произносит вдохновенно, умело, артистически растягивая звуки «р» и «л». Голос его слышен далеко. Он обращает на себя внимание людей и чем-то таинственно беспокоит их.

Странное дело, он беспокоит и меня — этот голос и этот непонятный и диковатый человек. Когда это возможно, я стараюсь избегать встречи с ним.

У меня своя жизнь, свои заботы и неприятности, свои болезни. И все-таки я человек благополучный. Я учитель, и у меня есть свои ученики. Многие люди, встречаясь со мною на улице, раскланиваются. А иные даже улыбаются мне.

А он человек явно неблагополучный. По крайней мере, он таким сам себя видит. О нем говорят, что он был тяжело контужен на войне, и этим объясняют его странности. О нем также рассказывают, что у него не было никогда детей, а жена, ухаживавшая за ним, как за ребенком, лет десять тому назад умерла. Он жил одиноким, а недавно ушел на пенсию и сделался совсем угрюмым.

И теперь вот он целыми днями ходит по улицам и нарушает уличное спокойствие. Спокойствие многих людей. И, как я уже сказал, мое тоже.

Для меня так было до нашей необыкновенной встре-

чи и знакомства. До нашего душевного разговора. После него у нас с ним все переменилось.

Вот как это было.

Был День Победы. Точнее, не просто День Победы, а День сорокалетия нашей Победы, 9 мая 1985 года.

Была солнечная, теплая, истинно праздничная погода. Было хорошо в воздухе и хорошо у меня на душе. Я стоял на автобусной остановке возле псковского почтамта. Дожидался автобуса. Куда-то мне нужно было ехать. На остановке было много народу. И незнакомого мне, и знакомого. Они тоже дожидались своего автобуса. Автобусы в тот день шли плохо.

Вот тогда-то ко мне и подошел тот человек. Он всегда, когда встречал меня, смотрел на меня мрачно и с каким-то особенным подозрением. Теперь он оказался совсем рядом. Прямо передо мной. Всего в двух шагах. Он смотрел на меня, на мою палочку, и взгляд его был тяжел.

От взгляда этого мне стало вдруг не по себе. Мне уже не хотелось ждать автобуса. Хотелось поскорее уйти. Но я не мог себе этого позволить. Это было бы с моей стороны проявлением малодушия.

Я продолжал стоять на остановке. Так вот мы и смотрели друг на друга. Он на меня — сурово и недоверчиво. Я — стараясь не выказывать смущения, стараясь показать всю свою твердость и беззлобие.

Он вглядывался в меня долго, что-то во мне разглядывая, точно выпытывая меня и испытывая. Наконец произнес:

— Позволь, гражданин хороший, вопрос тебе задать. Почему с палочкой ходишь?

— Война,— сказал я.

— Война,— повторил он и, сделав паузу, продолжил: — Сколько же ты на войне городов брал, если не секрет?

— Много брал, много и сдавал,— ответил я.— Сперва сдавал, а потом брал.

— Это ты хорошо сказал,— одобрил контуженый, все еще не смягчаясь глазами.— Это ты правильно сказал. Сперва сдавал, а потом брал. Все на войне было. Кем же ты был на войне, гражданин хороший? Большим начальником был?

— Большим,— сказал я.— Старшим сержантом.

Только после этих моих слов глаза его потеплели.

— Л-лиманы! Р-родина! — крикнул он и продолжал, чуть понизив голос: — Старший сержант — это важный на войне человек. Это большой начальник. Где же ты служил на войне, гражданин распрекрасный?

— Во многих родах войск служил.

— А конкретно, если не секрет?

— В танковых частях служил, в артиллерии сопровождения. В пехоте тоже был. В морской пехоте.

— Пол-лундра! — крикнул контуженый и спросил: — А где еще бывал?

— Командиром сорокапятки был, в противотанковой артиллерии.

— Что? — как-то восторженно спросил он, весь сразу переменившись.— Что ты сказал?

Сразу переменилось его лицо. Из сурового оно стало мягким, совсем размягченным. Оно точно потекло, повисло. Помягчели и повисли глаза его, щеки, губы.

— Что ты сказал? — вскрикнул он еще раз.— Сорокапятка? Повтори, гражданин мой милый!

— Сорокапятка,— повторил я.— Прямой наводкой по немецким танкам и пехоте!

На глазах у контуженого неожиданно показались слезы:

— Что же ты сразу не сказал? Друг ты мой дорогой! Да ты же... Да ведь это же смерть! Р-россия! Р-родина! Да ведь сорокапятка — верная смерть!

Он заплакал. Плача, он все время повторял:

— Сорокапятка — это смерть. Знаю, хорошо знаю. Смерть и гибель. — Он хватал меня за рукав, тряс меня и плакал все громче, навзрыд: — Сорокапятка — это такое! Да кто ж этого не знает! Кореш ты мой милый!

На нас смотрели на остановке стоящие. На меня с особым интересом смотрели. Не могли понять, с кем это я и почему.

А мне уже не было беспокойно с этим контуженым человеком. Мне хотелось с ним говорить. Я спросил его, спросил просто так, для порядка, ибо знал, что он мне ответит:

— А вы тоже воевали на сорокапятке?

— Как же, как же! О чем речь. Конечно, друг мой дорогой. Также был. Заряжающим. Замковым. Р-родину защищал. Л-лимань брал. Р-россия!

Знакомые на остановке все больше мне удивлялись. Меня раньше никогда таким не видели. Таким возбужденным. Так громко разговаривающим.

Мне же начинало мешать их удивление и их любопытство. Мне вдруг захотелось быть только с ним. С моим неожиданным товарищем и другом. Без зрителей. Без свидетелей.

Я слегка потянул его за кожаную форменную туужурку. Я уже забыл, что мне куда-то нужно было ехать. Я приглашал его без слов идти прочь от остановки. И он сразу же понял. Он пошел за мной.

Мы ушли с ним совсем недалеко. Пересекли площадь, на которую выходил почтамт. Зашли в скверик, сели на скамейку. Сели уединенно. В тени. Под большим каштановым деревом.

И стали разговаривать. Вспоминать. Разговаривать и вспоминать без конца.

— Ты помнишь, — спросил он меня, — как нашу сорокапятку солдаты называли?

— Помню, — сказал я. — «Прощай, родина!»

— «Прощай, родина!», правильно,— обрадовался он.— И ведь почему так называли, кореш мой дорогой? Потому что сорокапятки — это смерть. Ты в какой, конкретно, части служил?

— В отдельном истребительном противотанковом дивизионе сто сорок восьмой стрелковой бригады. В Тридцать третьей армии.

— Точно,— подтвердил он.— О тридцать третьей армии я слышал. В сорок первом его командовал генерал Ефремов. Знаменитый генерал. И то, что дивизион ваш истребительным назывался, это тоже точно. И мой так же назывался. Истребительный — это, дружок, самая что ни на есть высокая воинская категория. Нам ведь недаром за истребительные дополнительно деньги платили. Полевые платили, за пребывание на фронте, а к этому еще и истребительные. У вас сколько всего человек в расчете было?

— Семь,— говорю.— С ездовым и повозочным семь.

— И у нас семь,— говорит он.— Вместе с ездовым. Все так же. У вас, значит, пушка тоже на лошадиной тяге была? И у нас на лошадиной. Только в сорок втором мы без лошади остались. В окружении. Пушка была, а лошади не было. То ли съели лошадь, то ли просто подохла она. Конкретно не помню. В голову я контуженный. Память отшибло. Много помню, а многое совсем не помню. Пушку нашу в сорок втором мы на себе тащили. Километра два оттащишь. А потом возвращаешься. За снарядами. Ящики на себе тащишь. Со снарядами. Тяжело. И ящики тяжело, а пушку еще тяжелее. Дороги были, прямо скажу, хреновые. Попробуй дотащи! Грязища по колено. Места болотистые. В Калининской области мы тогда воевали.

— Нам тоже приходилось пушку на себе таскать,— вставляю я.

Но он перебивает меня. Он хочет сам рассказать. Чтобы самому рассказать, и задает мне вопрос:

— А ты помнишь, браток, как на себе пушку тащить приходилось? Конкретно помнишь? Вот послушай меня, как у нас все делалось. Из ремней и веревок петлю такую большую увязывали. Конец петли к пушке прицепляли, а в петлю эту сами впрягались. На шею и на плечи себе надевали. Так вот и тащили. А один из нас за стрелу вперед тянул. Вроде направляющего или, прямо скажу, рулевого. Это было самое тяжелое. Когда в петле идешь и пушку тянешь, и она тебя вроде поддерживает. Не дает упасть. А за стрелой, браток, ты сам это знаешь, совсем шатает тебя. То влево, то вправо. Идешь как пьяный. За стрелой у нас каждый ходил. В порядке обязательной очереди.

Я слушаю его, и мне все так знакомо и не надоедает слушать. Но мне не только слушать хочется, но и самому что-то важное вспомнить и рассказать. Я жду только подходящего момента, чтобы рассказать.

— Помню,— говорю я, пользуясь паузой в рассказе моего нового приятеля,— как мы под Рисавой воевали. В Смоленской области. Недалеко от Ельни. В срок третьем. В наступление ходили. Сперва пехота без нас шла, мы с пушками не успели к сроку подойти. Потом мы сами, без пехоты, наступали. Одни сорокапятки. Да еще пэтэровцы. По немецкой пехоте подкалиберными снарядами, специально для танков предназначенными, стреляли. Много нас тогда полегло. По два человека на расчет оставалось.

— Подкалиберные у нас тоже были,— радуется, перебивает мой собеседник. — Я раз подкалиберным, вместо осколочного, по фрицевскому пулеметчику ахнул. Прямым делом расстреливал нас, сволочь. Вот я и ахнул. Разбираться некогда было, каким снарядом. Я тогда за панорамой лежал. Сам заряжал, сам и наводил. И за командира был. Да, браток. Было такое. Все было. Л-лиманы у нас с тобой были. Сражения

были. Смерть в лицо нам смотрела. Р-россия! Р-родина! Тебе спать на ходу приходилось? — спросил он вдруг меня.

— А как же! — отвечал я. — И не однажды. В походе спал. На самом что ни на есть ходу. Я был командиром первого орудия. Значит, шел впереди. Впереди пушки, лошади, впереди всех. Первее меня шел только командир батареи. Гляжу, он передо мной спотыкаться начал. Пройдет несколько шагов — и спотыкается. Хотя дорога была ровная, гладкая. Понял я: это он засыпает на ходу. А потом я и сам стал спотыкаться на ровном месте.

— Точно, — подхватывает мой приятель. — Я тоже. Тоже спал. Я за пушкой шел и за пушку держался. Держусь и сплю. Сплю и шагаю. Очень прелестно. А на привалах — зимою — мы сразу все в снег бросались. На снегу и спали. Как убитые или зарезанные. Минут по десять. Ляжешь — и тут же проваливаешься куда-то. В самую что ни на есть глубину. И никаких тебе снов и сновидений. И никакой простуды, ядрена шиш, никаких тебе ангин или гриппов.

— У нас под Рисавой, — спешу рассказать я, — мой наводчик, Сорокин фамилия, на посту спал. Около пушки, в орудийном окопчике, в двухстах метрах от немцев. Ночью. Командир батареи наш пошел проверять посты, узнать, что и как. И вот спящим его и застал. Будил, будил, никак не мог добудиться. Тогда решил из орудия жакнуть. В сторону немцев. Зарядил орудие, выстрелил, тут Сорокин как вскочит. Вытаращил глаза на комбата и говорит: «Комбат, а комбат! Ты что это, с ума, что ли, сошел?» Нам сам комбат об этом рассказывал. Сразу как вернулся. Рассказывал и смеялся. Не мог от смеха удержаться. «Вот, — говорит, — черт-леший, аника-воин, засоня сраная, меня же и обругал!»

Мой приятель слушает меня вполуха. Тут у нас

с ним почти одинаково получалось. Что-то из сказанного мною он фиксирует в своем сознании, а что-то не очень. Из моей истории о Сорокине и комбате он больше всего запомнил сорокинские слова: «С ума, что ли, сошел». Они-то и вызвали его новое воспоминание:

— У нас тоже был такой сумасшедший офицер. Или, конкретно, просто бешеный.

— Мой командир батареи был совсем не сумасшедшим, — уточняя я. — Самый нормальный. И очень хороший человек.

— Комбат и у нас был хороший. Свой парень. А этот бешеный был заместителем командира дивизиона. Ну и хреновый был человек. Капитан по званию. Дело было в сорок третьем. Шли мы вторым эшелоном, преследовали немцев. В первый день, как в поход отправились — март месяц тогда только начинался, — попалась нам на пути большая лужа или маленькое озерцо, точно не помню. Хотели мы обойти ту лужу, а капитан не разрешил. Идите, говорит, прямо, это вам не хрен собачий, а война, закаляться надо, чтобы никаких трудностей не бояться. А у нас на ногах были валенки обуты. Насквозь их промочили. А к вечеру подморозило. Наши валенки и заledenели, как деревянные стали или, например, стеклянные. Аж затрясло нас от озноба и холода. Но и тут никто из нас не заболел. Военная обстановка, браток, одно слово. Оттого и не болели. А капитан этот, я так думаю, был контра или, конкретно, диверсант. Хорошо, что его скоро немцы подбили. Ранило его. В госпиталь увезли. У вас в батарее солдату долго можно было продержаться? — спросил меня мой собеседник.

— Какое уж тут долго! Если в боях, больше месяца с нашей пушкой не провожешь.

— Точно. Это ты правильно сказал. Я вот три раза был ранен. И еще один раз контужен. В голову, понимаешь. Полежишь после ранения в госпитале, отдох-

нешь маленько, подштопают тебя — и снова на передовую. Снова к своей родимой. К сорокапятке. Не к своей, конкретно, а к другой. Но все равно что к своей. Породился я, прямо сказать, со своей пушечкой. Как сестрою стала. Со смертушкой я ближе близкого познакомился. Все время на волоске держался. Либо тебя убьют, либо ранят. Другого для нас не было. Если ранят, да не тяжело, — значит, счастливый. Счастливые мы с тобой, корешок. Живы остались! Это ведь какое счастье! Это ведь, милый мой человек, чудо расчудесное, подарочек нам неожиданный. — И контуженый снова закричал — призывно, восторженно: — Р-родина! Р-россия! Мы с тобой л-лиманы б-брали! — А потом обыкновенным голосом уже спросил: — Ты помнишь, сколько денег нам было положено за каждый подбитый танк?

— По тысяче рублей командиру орудия и наводчику и по пятьсот остальным.

— Точно. Много денег было положено. Только что тогда эти деньги! Триста рублей буханка хлеба стоила. Да и где ее купишь? Ты сам-то, браток, много танков подбил?

— Один подбил, — честно признался я. — Еще один предположительно. Остался на вражеской территории. Его не заактировали.

— И я два танка подбил, — радостно сообщает мой собеседник. — Один в начале войны. Другой — перед концом. Перед последним ранением. Мало мы с тобой танков подбили. А попробуй подбей! Ты это знаешь, браток, и я знаю. Мы оба знаем, почем фунт лиха. Наград-то много у тебя?

— Немного. Одну — орден Отечественной войны первой степени только что получил. Как и ты, наверное. А то были медали. «За отвагу», «За боевые заслуги».

— Правильно! Правильно! — не сказал, а вскрик-

нул, восторженно вскрикнул контуженый. — У меня тоже две боевые медали. Обе «За отвагу». Много-то как получишь? Это штабным легче. А нашему брату — трудно. Наш брат не успеет на одном месте освоиться — тут его и цап-царап. Как тут на него награды заполнять! Бывает, и личность его как следует не запомнят. Ах, корешок мой!

И он опять закричал:

— Р-оссия! Р-одина! Л-лимань брали!

И снова, как в начале разговора, заплакал.

— Смерть мы видели. Вражеские танки видели. Прямо мы с тобой в глаза войне смотрели. Как мы только живы остались? — И, неожиданно перестав плакать, повернувшись ко мне всем лицом, спросил: — Тебя как величают, друг мой дорогой?

— Геннадием Петровичем, — ответил я.

— А меня, — сказал он, — Максимычем. Васей зовут. Василием Максимычем. Дай обниму тебя, Петрович.

И он обнял меня, а потом встал со скамейки, вытянулся передо мной по-военному, по-военному приложил руку к своей форменной железнодорожной фуражке и торжественно сказал:

— Будем знакомы. Поздравляю тебя. Поздравляю со светлым нашим Праздником Победы, Петрович!

И тогда я тоже встал. Тоже сказал ему добрые слова привета:

— Будем знакомы, Максимыч! И я поздравляю вас, дорогой мой дружище!

Возвращение

Наше знакомство состоялось в поезде дальнего следования «Львов — Ленинград». Я сел в поезд ночью во Пскове. Помню, мне в тот раз очень хотелось спать. Но хотя у меня было плацкартное место, вполне при-

личное место на нижней полке, поспать мне так и не удалось.

Сначала этот рыхлый, в пижаме, слез с верхней полки и зашмыгал туфлями. Мне казалось, он нарочно шмыгал, чтобы я не смог заснуть. Он куда-то уходил, приходил, снова уходил и снова возвращался, прохаживался в проходе — все время шмыгал. В полутьме ночного вагона я не мог разглядеть его хорошенько, но и то, что я видел, вызывало во мне раздражение.

Потом, ближе к утру, с нижней полки напротив поднялась женщина и завела носом почти совсем так же, как тот ногами: шмыг-шмыг. Она продолжала эту музыку долго, а я никак не мог понять, почему она не хочет высморкаться. Женщина и мужчина заговорили между собой. Они говорили шепотом, но это был громкий шепот, и каждое их слово для меня было как удар молоточком по затылку.

Я подумал, что они, должно быть, муж и жена. И еще я подумал, что мне чертовски не повезло с соседями. Я ворочался на своей полке, демонстративно покашливал, давая им понять, как они мне мешают, но они не понимали. Наконец я не выдержал, опустил вниз ноги, подсел ближе к окну и, избегая смотреть на них, стал с особенным упорством смотреть в окно. Я продолжал демонстрировать им свою неприязнь и свое недовольство.

Но они-то ко мне явно не испытывали недобрых чувств. Мужчина, очевидно, думал, что я вовсе и не хочу спать. Он был настроен весьма благодушно и старался завести со мной разговор.

— Хорошие места, не правда ли? — сказал он, указывая пальцем за окно, на проплывающие мимо зеленые, свежеемытые дождем массивы лесов.

Я не ответил. Даже не повернулся в его сторону. Тогда он продолжал уже с женщиной:

— Светлана, смотри, мы подъезжаем к тем местам, где я родился.

— Ты разве родился не в Ленинграде?

Это было сказано очень громко, густым, чуть хрипловатым голосом. «Вульгарным голосом», — отметил я про себя.

— Нет, я родился в Гатчине, — сказал мужчина. — Мы сейчас будем ее проезжать.

— Гатчина — это город?

— Да. Там до войны был замечательный парк. Не знаю, сохранился ли. Как тебе нравятся эти виды? Прекрасные, не правда ли? Прекрасные леса. И так до самого Ленинграда. До самого Ленинграда будут все леса и леса.

Я-то хорошо знал, что лесов до самого Ленинграда не будет. И именно потому — только поэтому — обернулся к говорящим. Уже совсем рассвело, и теперь я мог лучше их разглядеть.

Мужчина успел одеться. На нем был широкий клетчатый пиджак и безукоризненные, только чуть-чуть помятые светлые брюки. А лицо у него было жалкое: широкое, дряблое, точно распухшее и на нем маленькие, круглые, точно стеклянные, как у рыбы, глазки.

И женщина тоже была не в лучшем виде. Ей было лет за сорок, а между тем она заметно и как-то по-нелепому молодилась. Темные, без седины, но уже поредевшие волосы ее были причесаны модно, под мальчика, на ней была широкая, наподобие цыганской, ярких цветов юбка и желтый, без рукавов, шерстяной свитер. Все это выглядело на ней очень провинциальным. Впрочем, они оба — и мужчина и женщина — показались мне провинциальными.

Мужчина, увидев, что я повернулся к ним, снова обратился ко мне, и его стеклянные глазки при этом выражали чувство глубокого доверия:

— Скажите, скоро ли мы подъедем к Гатчине?

— Не скоро,— ответил я.— Мы еще только подъезжаем к Луге.

И отвернулся. А мужчина словно бы и не заметил моей неучтивости:

— Ты слышишь, Светлана, оказывается, Гатчина будет не скоро. Значит, я ошибался, когда говорил, что мы уже подъезжаем. Забыл я, понимаешь...— и снова обратился ко мне: — Вы едете домой?

— Нет, не домой.

— Значит, из дому? Наверное, в командировку? Вы сели в Пскове. Вы там живете? А мы вот, знаете, со Светланой домой едем. Да. В Ленинград.— Он помолчал некоторое время, видимо, дожидаясь моих вопросов, но, так и не дождавшись, продолжал: — В Ленинград едем. Я жил там до войны. Почти всю жизнь прожил. В Гатчине это я только родился. А Светлана из Ростова-на-Дону. Но едем мы сейчас оба в Ленинград. Семнадцать лет не был дома. Да. Мы из Аргентины едем.

Этот человек возбудил наконец мое любопытство.

— Из Аргентины? — спросил я.— Что вы там делали?

В рыбьих глазах затеплилась благодарность. Мужчина уже за один интерес к нему готов был благодарить. Он словно только и ждал, когда я начну спрашивать.

— Мы из перемещенных,— сказал он.— Я и Светлана. Светлана — моя жена. (Женщина согласно и важно кивнула головой.) Мы с ней поженились только год назад. Верно, Светлана? (Женщина снова покивала.) Мы поженились только после того, как получили письмо от нее. Я говорю о первой моей жене. Она отказалась от меня. Не хотела даже хлопотать о вызове. Писала, что я враг, предатель. Но какой же я враг?

Какой же я предатель? У нас с ней двое детей. Теперь уже большие. Мальчишки. И вот мы едем вдвоем со Светланой. У нее тоже есть дети. Дочь. В Ростове. Мы, понимаете, в плену познакомились. Я там в сорок втором оказался. Были в Германии, в Норвегии, в разных странах были. А после окончания войны в Аргентину попали.— Он вдруг, кажется впервые, заметил мою палку и понизил голос:— Это у вас с войной связано? Ранение? Вам много пришлось воевать? Вы один раз были ранены? Светлана, ты слышишь? Товарищ четыре раза был ранен! Ему тоже пришлось многое пережить. Ему пришлось пережить еще больше, чем нам, Светлана. Ведь мы с тобой ни разу не были ранены.

— Как же это вы попали в плен? — спросил я.— Вы были в армии?

— Я был в армии. Музыкантом. В военном оркестре. Знаете, по части духовых инструментов. Я играл на трубе. Но я умею немножко и на аккордеоне. И вот попал к немцам. В городе Майкопе, на Кавказе. Летом сорок второго. Я не хотел сдаваться в плен. Но что было делать? У меня в одной руке труба, а в другой канадская винтовка. Выдали нам. Очень тяжелая. Знаете, а патронов ни одного. А кругом немцы. Галдят по-своему: сдавайся, рус! И автомат немецкий у самого живота чувствую. Так вот и попал в плен. И Светлана тоже попала. Ее немцы из Ростова увезли. Она у меня грамотная. Два года бухгалтером работала. Это еще до того, как в плену оказалась. А в плену, знаете, несладко. Всяко приходилось. Но в Аргентине нам удалось с самого начала неплохо устроиться. Нам, знаете, повезло.

Женщина неодобрительно посмотрела на мужа:

— В Аргентине сейчас кризис,— сказала она.— И там всем заправляют американцы. Если бы не компартия, там было бы совсем плохо. В Аргентине очень сильная коммунистическая партия.

— Подожди, Светлана,— возразил мужчина.— Я сам все расскажу. В Аргентине, она права, много американцев. Но их там не любят. И в Италии не любят. Мы были и в Италии. Уже по пути домой. Там я купил этот аккордеон. Вам нравится? Неплохо сделан. Италия — красивая страна, и там тоже очень сильная коммунистическая партия. Вы слушаете меня?

Да, я слушал его. Теперь я слушал. И хотя мне не по вкусу была излишняя суетливость его речи, сам он мне уже не был неприятен. Я не только слушал, я поддерживал, как мог, разговор. Я задавал вопросы.

— Как же вам удалось вернуться домой? — спросил я.

— Это мои мальчики. Жена от меня отказалась, а они не отказались. Они выхлопотали разрешение в правительстве и послали мне вызов. У нас очень хорошее, справедливое правительство. Я это могу оценить лучше, чем кто-нибудь другой. Теперь я снова буду работать. Я могу не только музыкантом. Когда-то я был неплохим столяром. Столяром-краснодеревщиком. До Гатчины еще далеко?

— Нет, уже недалеко.

— Светлана, смотри, мы подъезжаем к Гатчине. Я тебе уже говорил, что это моя родина. Здесь родился и мой отец. Вы знаете,— снова заговорил он со мной.— Я очень волнуюсь за Светлану. Как ее примут мои мальчики? Ведь они ничего не знают. Мы стали мужем и женой только год назад, после письма моей первой жены...

— Она вышла замуж за другого?

— Не знаю. Не думаю. Просто она считала меня предателем. А мальчики не считают. Они прислали мне письмо, а в письме — свою фотографию. Я вам сейчас покажу. Можно?

Он достал с багажной полки чемодан, долго возился с ключами, с замками. Толстые пальцы его дро-

жали, когда он открывал. Фотокарточка была чистая и гладкая. На ней два юноши, худенькие, с простыми открытыми лицами, и с ними рядом — молодая женщина, такая же, как и они, худенькая, простенькая.

— Это Алеша, старший мой,— пояснял мужчина.— А это Федюшка. Женщина — это жена Алеши. Алеше двадцать один год, а он уже женат. Он работает на заводе, помощником мастера. И она там работает. Чертежницей. Знаете, я все никак не могу выкинуть к ним на фотографии. Я ведь помню их совсем другими, маленькими. Когда меня провожали, Алеше было четыре года, а Федюшке два. Они держали за руку свою маму, мою первую жену, и спрашивали меня: «Па, а ты куда хочешь уезжать? Ты скоро вернешься?» Это старший, Алеша, спрашивал. А Федюшка просил трубу ему привезти. Такую же, как у меня. Очень ему нравилось, как я на трубе играю. Как вы думаете,— спросил он вдруг,— они придут встречать меня на вокзал?

— Если вы им сообщили...

— Да, я сообщил. Я им дал телеграмму.

— Тогда, думаю, они придут.

— А их могут не отпустить с работы?

— Их обязательно отпускают.

— Вы в этом уверены? Спасибо вам. Вы меня успокоили. Я ведь, знаете, очень сейчас волнуюсь. И за себя, и за Светлану. Светлана, тебе не кажется, что нам пора уже готовиться? Нам совсем недолго осталось ехать.

Он в самом деле очень волновался. Это было видно. Лицо его точно осело, осунулось. Глаза были полны слез, и мне почему-то особенно тяжело было видеть, как он плачет.

Светлана внешне казалась спокойнее. Она только без конца перебирала в своем чемодане кофты, платья, юбки и все спрашивала мужа:

— Как ты считаешь, что мне лучше надеть? Это? Или, может быть, это? Ведь это не подойдет, не подойдет, да?

Она долго перебирала и осталась все-таки в своей широкой цыганской юбке и желтом шерстяном свитере без рукавов.

В Ленинграде, когда мы подъехали к станции, я собрался и вышел первым. Мужчина, прощаясь, долго тряс мне руку и благодарил. Я не был уверен, что меня было за что благодарить.

Я не успел еще отойти далеко по перрону, как в потоке встречающих заметил странно знакомую мне группу. Шли трое: двое мужчин, почти юношей, и с ними молодая женщина. Женщина несла в руке несколько гвоздик.

Я их сразу же узнал. Они были совсем такие же, как на фотокарточке. Только, как мне показалось, еще проще, еще моложе и симпатичнее. Я остановился, чтобы проследить за ними.

Они поравнялись с нашим вагоном, задержались возле него, рассматривая лица стоящих возле вагона, и пошли дальше. Они не узнали.

И мой дорожный спутник тоже не узнал. Он стоял, не отходя от вагона, в каждой руке по большому чемодану, вглядывался, вглядывался — и не узнавал. Я вспомнил его слова: «Знаете, я все никак не могу привыкнуть к ним на фотографии. Я ведь помню их совсем другими, маленькими...» — и я крикнул ему:

— Послушайте, вот они, ваши сыновья! Мимо прошли...

Он услышал, весь вздрогнул, испуганно посмотрел в мою сторону, потом, тотчас же, в противоположную, медленно опустил на землю чемоданы и не своим, незнакомым мне тоненьким плачущим голосом воскликнул:

— Алеша! Федюшка! Это я. Я ваш папа...

А рядом с ним стояла его Светлана и улыбалась, и улыбалась... и быстрым движением левой руки все одергивала и одергивала свой желтый модный свитер.

На мальчиков я не смотрел. Я вообще больше ни на кого не смотрел. Повернулся и пошел по платформе к выходу. Я просто не мог больше смотреть.

Нам хочется есть

Было это все в первый год войны, на Южном фронте, приблизительно на полпути от Ростова к Таганрогу. Несколькими днями раньше в жарком бою мы отбили у немцев Ростов и вместе с другими частями, принимавшими участие в сражении, теперь продолжаем теснить врага на запад.

По степным дорогам, по широким оврагам, которые называются по-местному балками, больше ночью, чем днем, двигаемся мы по направлению к Таганрогу. Мы полны надежд, и мы голодны, ибо более двух суток ничего не ели. Наши разговоры почти исключительно о еде. Моего приятеля Сурена Алояна острое чувство голода сделало даже философом:

— Ара, послушай, что такое человек?— говорил он мне.— Нет хлеба — и человек бывает злой и несправедливый. Будет хлеб — и человек станет счастливым и сильный, как молодой ишак. Без хлеба — человек не человек.

Сурен говорил это мне вчера утром. Вчера после полудня Сурена не стало. Вражеская разрывная пуля сразила его. Он лежал на земле, в старенькой, пожелтевшей от крови гимнастерке, лицом вверх — и ничего уже не говорил. В его больших черных глазах навечно потух свет. Незадолго перед тем бронебойными снарядами он расстрелял из своего орудия немецкий танк. Интересно, о чем он тогда думал? Думал ли он о еде?

Вчера после полудня, отбивая танковую контратаку врага, многие из нашей батареи были либо ранены, либо убиты. Все это были славные мужественные ребята. И все они последние двое суток ничего не ели.

Сейчас нас всего шестеро осталось. Я — командир противотанкового орудия, четыре бойца и командир взвода, единственный теперь средний командир в батарее, младший лейтенант Савельев. У нас еще есть пушки, но мало людей и совсем нет снарядов, и нас вывели временно из боя и держат в ближнем тылу, на восточной окраине станции Морская. Станцию наши войска отбили у противника, но не всю, часть ее все еще находится в руках немцев.

Мы расселись вокруг костра, который сами же развели, позади двухэтажного каменного домика. Холодно. Сильно подморозило. Метрах в пятистах от нас пехота ведет неторопливый бой. Слышны одиночные винтовочные выстрелы, залихватая дробь автоматов, время от времени свистят и тут же гулко ухают мины.

Все это близко от нас, и все это воспринимается нами как нечто далекое, не имеющее к нам отношения. Две оставшиеся в строю 45-миллиметровые пушки наши мирно и сиротливо стоят на противоположной, ближней к врагу, стороне каменного дома. По-прежнему ничего не слышно о нашей кухне.

Мой помощник по орудию наводчик Ваня Жданок ругается:

— Туды их мать! Туды и растуды! О чем они только думают! Не могут солдата накормить. Запрятались, курвы, в тылу, тепло, не дует, на все им начхать. Разве неправду говорю, сержант?

Я не вполне уяснил для себя, кто это «они», запрятавшиеся в тылу, но я утвердительно киваю головой: конечно, он говорит правду, зачем об этом спрашивать!

— Я бы всех этих интендантов и старшин, — про-

должает Жданок,— да и повара в придачу, на одной осине перевешал. Ни одного дьявола не пожалел бы.

— А за что их жалеть? — одобряет Ваню солдат Степан Сытников. — Они-то нас жалеют? Отъелись, как свиньи на барде.

Вытянув над костром большие, черные, узловатые кисти рук, вздыхает Василий Иванович Масленников:

— Эх, хоть бы тютюнчику где-нибудь достать.

Вздыхает и казах Баядилов. Но ничего при этом не говорит. Жданок смотрит сперва на Баядилова, потом переводит взгляд на его котелок, с помощью палки подвешенный над огнем и наполовину наполненный зеленоватой водой, добытой из заледевленной лужицы, и мрачно острит:

— Что, Баядилов? Плохо? Котелок пища нет — теперь совсем воевать не будем?

Баядилов поворачивается в сторону Жданка. На какое-то мгновение лицо его выражает недоумение и обиду. И вдруг оно расплывается в неожиданно добродушной, во весь рот улыбке:

— Зачем не будем! Обязательно будем воевать...

И как будто это находится в прямой связи с его словами, Баядилов тут же подтягивает к себе палку с котелком и деревянной ложкой, как суп, начинает хлебать воду:

— Хорошо,— приговаривает он.— Вкусно. Очень вкусно. Очень хорошо.

— Правильно, кореш! — одобряет его Василий Иванович Масленников.— Как это среди солдат говорится: чай пить не будешь — откуда сила будет!

А Степан Сытников рассуждает о том, что нужно человеку для счастья:

— Я так думаю, братики. Чтобы человек счастливым себя чувствовал и радости у него было в полном комплекте, нужно ему на день граммов триста свининки и хлеба сколько влезет. И довольно. И хватит.

— Не хватит,— возражает Ваня Жданок.— Без другой пищи сала трехсот граммов маловато будет.

— Ну, полкило,— легко уступает Степан.— Полкило, братики, будет в самый раз.

— Полкило — это совсем другое дело,— не совсем уверенно говорит Жданок.— Полкило — это лучше, чем триста граммов. А еще лучше граммов этак шестьсот пятьдесят...

— Да к этому еще бы горилки,— неожиданно вмешивается в разговор младший лейтенант Савельев.— Сто или двести граммов горилки к салу тоже неплохо, однако.

Я смотрю на улыбающегося Савельева — и не узнаю его. Совсем другим он стал, не таким, каким был прежде. Словно уже и не начальство. Простой. Понятный. Как бы без формы.

Мне приходит на память, как однажды, еще до отправки на фронт, когда по каким-то причинам заповедал ужин и мы стали выражать свое нетерпение и недовольство, он сказал с брезгливостью старого вояки:

— Расплакались! Слюни распустили! Детки малые. Не покормили их вовремя. А как же, однако, на фронте будете? Может, по несколько суток тогда придется голодать...

Сейчас мы на фронте, и мы в самом деле уже несколько суток ничего не ели. Мы опять недовольны. Но Савельев больше не стыдит нас. Может быть, просто он тоже хочет есть?

Он сидит как раз напротив меня. Его широкое скуластое лицо покрыто слоем копоты от костра, и когда он улыбается, блестят его крупные, с щербинкой, желтые зубы. Признаться, до сих пор мы не особенно жаловали его. Но сейчас он для нас совсем близкий, свой, родной человек.

Как-то вдруг, в первый раз с тех пор, как мы его знаем, он начинает рассказывать о себе.

— Я ведь недавно в армии,— к большому нашему удивлению, заявляет он.— Меня перед самой войной призвали. За два месяца курсы младших лейтенантов окончил. Командиром сделался. А до этого обыкновенным мужиком был.

— Здорово!— не может удержаться от восхищения Жданок.

— Сибиряк я,— продолжает рассказывать младший лейтенант.— Из деревни Мошково. Может, слышали? Хорошие у нас места. Плодовитые. Воздух живой. Ядреный такой. Садов много. Я в колхозе работал. Бригадиром. В полеводческой бригаде. В моей бригаде почти все бабы были. Хорошо...

— Еще бы не хорошо,— опять, уже по другому поводу, восхищается Жданок.

— Богато мы жили, всего было вдоволь,— рассказывает младший лейтенант.— И работали хорошо, и было насчет того, чтобы повеселиться. У нас в доме две коровы держали, да по два теленка, да овец штук восемь. Все у нас было.

— Кто же у вас теперь там остался? Жинка, наверное?— спрашивает Степан Сытников.

— Нет. Жинки у меня не было. Холостой я еще. Все теперь на материных руках. Да еще сестренка младшая помогает. У других сестер свои хозяйства. А мать у меня старая. Трудно ей со всем управиться. Да и жить ей недолго осталось. Не иначе помрет скоро. Только бы до конца войны дожила. Вот вернусь с войны — женюсь. Обязательно. Без хозяйки мне никак нельзя.

— Уже имеется на примете?

— Имеется. Как не иметь! Есть такая дивчина — Маруська Головова. Собою маленькая. Но очень уж складная вся. Письма мне пишет. Хорошие письма пишет, однако.

И после небольшой паузы Савельев добавляет:

— Эх, други мои дорогие и закадычные! Как подумаю о том, как жил, так аж душа замирает, а сердце быстрее биться начинает. Поскорее бы вернулась к нам эта жизнь!

Увлеченные рассказом Савельева, и мы начинаем вспоминать о своем прошлом. У каждого из нас свои особенные воспоминания. Но в одном отношении они похожи. О трудном мы не помним, забыли. Вспоминаем только о хорошем. Радостным праздником живет в нашей памяти недавнее наше прошлое, и более всего другого помнится нам в нем сытость и довольство.

Так за разговорами и воспоминаниями проходит время. Порой где-то в стороне от нас что-то рвется. Мимо проходят сами или ведомые товарищами раненые. Не спеша бредут пехотинцы группами и в одиночку по направлению к передовой. Весь день не замолкает шум недалекого боя.

А ближе к вечеру как-то сразу и неожиданно все стихает. Нам видны маленькие синие фигурки, перебегающие от дома к дому, на самой окраине станции. Это отступают немцы.

Тогда-то и появляется наша кухня. На полном ходу у самого нашего каменного дома осаживает лошадей широкий в плечах и малый ростом повар Ванюшка Сучков. Ловко спрыгивает на землю старшина Бугай.

— Здорово, орлы!— задорно и весело приветствует он нас.— Чай, соскучились без меня?

— Представителю крупного рогатого скота наш пламенный фронтовой привет!— восклицает в тон старшине Ваня Жданок.

— Ванюшка, подлец ты эдакий!— любовно обращается к повару Василий Иванович Масленников.

Улыбается, шутит Баядилов:

— Товарищ старшина! Товарищ дорогой начальник! Курсак совсем пустой. Очин плохо...

— А я, братцы,— оправдывается старшина,— тре-

тий день за вами гоняюсь. Никак не добраться до вас. Всё немецкие «мессеры» проходу не давали. Набрасывались как оголтелые. Сами видели, как они бесились, ни дна им, ни покрывки...

— Спасибо, что теперь хоть добрались,— великодушно прощает старшину Степан Сытников.

Возбужденные и радостные, толпимся мы возле кухни. Повар Сучков накладывает каждому из нас по полкотелка перловой каши. Каша холодная, отливает синевой. Такую кашу солдаты в просторечье называют «шрапнелью». Вдобавок к каше нам выдают по маленькому кусочку мяса. Стоя, не отходя от кухни,правляемся мы с пищей.

Но ее нам мало. Пицца слишком скудна, чтобы утолить наш голод. Настроение наше снова резко меняется к худшему.

— Ты нас, как цыган лошадь, хочешь приучить, товарищ старшина,— зло говорит Степан Сытников.

— Так закормить можно.

— Не приезжал бы лучше вовсе. Легче было бы.

Я тоже не выдерживаю. Я ругаюсь:

— Сукин сын ты, Бугай! Сволочь! Заелся.

Когда-то, не так уж и давно, Леша Бугай был не старшиной батареи, а таким же, как и я, командиром противотанкового орудия. Мы жили бок о бок, у нас были одни заботы, одни беды и радости, и мы никогда не уставали разговаривать друг с другом. Мы были с ним друзьями.

Но с той поры, я теперь так думаю и чувствую, прошло немало времени. И сейчас, в эту минуту, нет для меня человека, которого я ненавидел бы больше, чем этого своего бывшего друга.

— Сукин сын ты, Бугай! Сволочь,— повторяю я.

Странное дело, он не обижается. По крайней мере, не подает виду, что обиделся. Он отводит меня в сторону и так, чтобы никто не слышал, говорит:

— Полегче на поворотах, друг! Разбежишься — не остановишься. Давай лучше свой котелок. У меня там немного каши осталось. Я, друг, своих друзей никогда не забываю. Не забыл, не забуду, как сам в твоей шкуре побывал.

Четверо товарищей моих, солдат, тщетно выпрашивают у повара добавки. Не утерпел, подошел к Ванюше Сучкову и младший лейтенант Савельев. Неестественным для себя, хрипловатым полупшепотом он просит:

— Ванюш, а Ванюш! Может, у тебя костка осталась, однако?

— Нету, лейтенант, костки, — отвечает Савельеву Сучков. — Лучше и не просите. Нету.

А старшина Бугай, слышавший все, добавляет голосом справедливца и праведника:

— Для меня, товарищ младший лейтенант, все равны. И бойцы и командиры. Всем одинаковая порция.

В этот момент совсем близко от нас, с коротким, словно захлебнувшимся, проникающим в самое нутро, в самую душу звуком, разрывается снаряд. За ним другой, третий. Отступивший немец начал артиллерийский обстрел станции. В воздухе устанавливается тот особенный, сладковато-приторный запах, смешанный запах гари и дыма, который яснее, ощутимее всего говорит, что война и смерть тут, возле тебя, где-то совсем рядом.

Мы падаем на землю, всем телом тесно прижимаемся к ней, лежим так — без мыслей, почти без чувств, в одном напряженном ожидании. Вот сейчас, вот еще мгновение — и совсем ничего не будет. Не будет тебя. Не будет твоего ожидания...

Первым приходит в себя младший лейтенант Савельев. Он резким движением, сильным порывом вскакивает на ноги и, стараясь перекрыть шум, свист, грохот, приказывает:

— Встать, туды его мать, однако. Пушки — в укрытие! Быстрее, мать вашу...

Не дожидаясь, когда выполнят его приказание, он бежит к пушкам сам. Бежит, размахивая руками, чуть переваливаясь из стороны в сторону. Добежав, он тут же хватается за стрелу ближнего орудия, пробует один сдвинуть орудие с места, но тут же страшно вскрикивает и медленно, грузно оседает. Когда мы подбегаем к нему, он громко, всхлипами, стонет.

— Что с вами?

— В грудях. Жарко... Душно... Дышать нечем...

— Вам очень больно?

На этот вопрос он не отвечает. Бережно поднимаем мы его, Василий Иванович, я и Баядилов, и несем за домик, где в укрытии стоит наша кухня. Мы не пригибаемся, когда осколки свистят над нашими головами. Страху в нас нет. Теперь нам не до того, и не о себе мы думаем.

У самой кухни мы осторожно кладем Савельева на расстеленную шинель, другой шинелью и плащ-палаткой укрываем его. Он уже не стонет. Все его тело дрожит мелкой дрожью. Мелко дрожат его губы. Прерывающимся от дрожи голосом он что-то шепчет. Я нагибаюсь к нему, чтобы услышать. Его слова обрывисты, он говорит точно в бреду:

— Вот, братики... Все... Кончилось... Конец войне... Теперь женюсь... Женюсь... Обязательно...

Почему-то мне от этих его слов делается очень тошно. Я хочу ему сказать что-то особенно теплое, доброе. Но не могу. Потом судорожно глотаю слюну. А он уже ничего не говорит. И совсем перестало дрожать его тело. Он весь как-то сразу вытянулся. Телом. Лицом. Я взял в свою его руку. Очень мне захотелось пожать его руку. Но мое движение осталось без ответа. Его рука была холодной, неподатливой, точно деревянной.

Через несколько минут приведенный откуда-то старшиной фельдшер деловито объявил:

— Он мертвый, товарищи. Можете хоронить.

Наступила большая и тяжелая пауза. Все молчали. Кажется, целую вечность длилось это молчание среди окружающего грохота и шума войны. Наконец повар Ванюшка Сучков первым прервал паузу. Гнусава от волнения, он произнес свое надгробное слово:

— Умер... Эх!.. А я ему сегодня костки пожалел...

Когда чуть стихает артиллерийский обстрел, Сытников и Баядилов уходят с лопатами и кирками на восточную окраину станции Морская — рыть могилу для младшего лейтенанта. Туда же вскоре приходим и мы, остальные, и приносим с собою мертвое тело нашего командира. В неглубокую обледенелую по краям яму осторожно опускаем его. Первые комья земли падают на труп, за ними еще и еще, и вот уже на том месте, где зарыт Савельев, скромно возвышается маленький бугорок земли с воткнутой в него палкой и прибитой к палке дощечкой. На дощечке написано — в точном соответствии с принятой формой:

«Младший лейтенант
Савельев Иван Кузьмич
(1916—1941).

Погиб смертью храбрых
в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками»

Кто-то снимает свою армейскую ушанку и тут же надевает ее снова. Кто-то произносит дежурные, никому теперь не нужные слова: «Хороший был человек...» Кто-то стоит без слов, без движения, низко опустив голову...

Вечная память!..

А несколькими часами позже, темною ночью, по развороченной снарядами дороге, плетемся мы позади своих пушек, более чем когда-либо усталые, голод-

ные, — преследуем отступающего противника. Пять человек нас осталось. Мы потеряли почти всех своих товарищей. Только что погиб наш командир. Завтра, послезавтра, очень скоро, быть может, решится и наша судьба. Но я знаю, я уверен: не об этом наши мысли.

Все мы думаем только об одном: неужели никогда не наступит для нас день, когда мы сможем досыта наесться? Неужели не дождемся мы этого дня?

О смерти мы не думаем...



Я их помню

Очерки

Комбат Бурцев

Был он озорником, умницей и добрым ругателем. Ругался он отменно и самыми разными, часто неожиданными словами. Знакомый солдат из соседнего подразделения спросил меня однажды: «Правда ли, что ваш командир умеет так материться, что от его матерщины на сердце становится радостно?» Это было правдой. И я так и сказал своему знакомому.

Лейтенант Кирилл Петрович Бурцев, командир нашей батареи, имел от рождения немногим более двадцати лет, когда я служил под его началом осенью 1940 года и зимой и весной 1941-го — сперва на Каспийском море, а затем в Баку.

Он был старше нас, солдат и младших командиров, всего года на два — на три. Но он был много старше своим жизненным опытом, знаниями, чувством независимости и живым умом.

До армии, до училища, Бурцев жил в Костроме и учился в обыкновенной школе. Отец его работал мастером на молочном заводе. Во время школьных каникул, когда сын дорос уже до старших классов, отец

устраивал его на сезонную работу: продавцом мороженого, которое готовилось на заводе. Это делалось и ради трудового воспитания, и для заработка, — денег, зарабатываемых отцом, большой семье Бурцевых всегда не хватало.

Продавать мороженое мальчику было в радость. Дело это веселое, и сам он был веселым. Он продавал мороженое с громкой присказкой, которую сам же и придумал: «Жареное мороженое с Дальнего Востока. Вкусно и дешево!»

Такими словами он объявлял свой товар, так покрикивал, когда продавал, и людям это нравилось. Людям нравились и присказка, и мороженое, и больше всего — веселый мальчик. Торговля шла бойко. Отец смеялся: «Кончишь школу, будешь продавцом. Для этого у тебя есть и голос, и все данные. Тоже как-никак профессия!»

Профессию он для себя выбрал военную. Но о юных своих годах, об успешной продаже мороженого охотно вспоминал. Рассказывал об этом с юмором своим командирам взводов и нам, младшим командирам. А при случае и солдатам.

Любил рассказывать он и о других своих временах. Например, о годах, проведенных на Дальнем Востоке. Дальний Восток его присказки неожиданно обернулся для него реальностью. Он провел там несколько лет. Сперва учась в артиллерийском училище, в маленьком городке. Потом — в боях на реке Халхин-Гол. Когда он участвовал в боях на Халхин-Голе, ему было девятнадцать лет.

Армейская жизнь его сложилась так, что еще до большой войны ему пришлось побывать не в одном, а в двух серьезных сражениях. После Халхин-Гола он оказался в Финляндии. Воевал там полных два месяца. Тяжелых, заполненных трудом и опасностями. За финскую кампанию Бурцев заработал свой второй ор-

ден — Красного Знамени. Первый орден — Красной Звезды — он получил за бои на Халхин-Голе.

В пору моей кадровой службы, накануне Отечественной войны, боевые ордена были еще редкостью. Иметь два ордена — это много значило. Со своими орденами, с боевым опытом лейтенант Бурцев ощущал себя настоящим, бывалым воином. И это давало ему внутреннее право на достаточно независимое поведение.

Независимо он держался по отношению к начальству. К подчиненным был требовательным, шумливым и чаще всего дружественным. Подчиненным общаться с ним доставляло удовольствие. Даже в тех случаях, когда он распекал их.

Что же до его чувства независимости в отношении к начальству, то в этом он допускал некоторые вольности и излишества. Выходил за рамки уставных правил. Однажды он сказал мне: «Когда идешь со мной, ниже капитана можешь никого не приветствовать». И я так и не мог понять, всерьез он это мне сказал или не совсем всерьез.

Сам он, исключая тех, кого знал лично, старался не приветствовать. Отворачивался. Делал вид, что не заметил. Ему, естественно, за это доставалось. Но он упорно продолжал делать по-своему. И так объяснял свое поведение:

— С какой это стати я буду перед ним вытягиваться и честь отдавать? Я огонь, и воды, и медные трубы прошел. А он, может быть, ничего такого не проходил.

И для большей убедительности он добавлял к сказанному набор крепких словечек, которые всегда служили необходимым украшением его речи.

Со мною лейтенант Бурцев был не то что мягок — мягким он ни с кем не был, — но прост. Узнав, что я ленинградец и попал в армию прямо из школы, отли-

чал меня вниманием. Расспрашивал о школе, о Ленинграде.

— Ты что, неужто там и родился? — говорил он. — Ах, не там все-таки. Хороший город Ленинград. Самый красивый. Я провел в нем два дня. Проездом. После финской. Есть там на что посмотреть! У меня не было времени. Петергофа не видел. Фонтанов. Замечательные, говорят, фонтаны. Как только позволит международная обстановка, возьму отпуск, обязательно туда поеду.

На острове мы жили на отшибе. Остров небольшой по размерам, с полкилометра в ширину и километра три в длину. Весь заросший и неприбранный. По нему свободно бегали дикие козы. Кроме этих коз да нас, никто на острове не жил.

Наше полковое начальство находилось в Баку. К нам наведывалось редко. В таких условиях Бурцев чувствовал себя отлично. И ему и нам, несмотря на жизнь в сырых землянках и безлюдье, нравилось нести службу на острове.

Хотя Бурцев и недолюбливал некоторые уставные положения, командиром он был отменным. Он хорошо знал свое дело, и ему нравилось учить своих подчиненных артиллерийской науке. У него это получалось. На своих уроках он часто приводил примеры из боевой практики. Это помогало лучше постигать теорию. Его уроки были запоминающимися, живыми и веселыми. Веселыми — благодаря оснащенности его речи неожиданными, сильными и образными словечками.

А вечерами, после учебных занятий, он любил «забивать козла». Его постоянные партнеры по домино — командиры взводов и кто-нибудь из сержантов. Если Бурцев не играл в домино, то играл в шахматы со своим приятелем лейтенантом Овечкиным.

И в домино, и в шахматы наш комбат играл одинаково увлеченно, с запальчивостью, со страстью. Но

нельзя сказать, чтобы хорошо. Частенько ему случалось и проигрывать.

Проигрывать лейтенант Бурцев не любил. Если дело шло к его проигрышу, все кончалось большим шумом. Командиров взводов — и тех, которые играли против него, и своего партнера — он неизменно обещал посадить на гауптвахту. «Я вас, так и разэтака,— бушевал он в таких случаях,— я вас туды и растуды...»

Нужно сказать, что командиры взводов были у нас люди закаленные. От угроз комбата они не теряли присутствия духа. Они даже считали возможным высказать вслух свою точку зрения на происходящее:

— Нужно лучше играть, лейтенант! Тогда и волноваться не придется. А на гауптвахту нас, дорогой человек, сажать, скажем прямо, не за что.

— Как не за что! — продолжал кипятиться лейтенант Бурцев. — Как не за что! Если вы не понимаете, что такое уважение к начальству и субординация...

В ответ на угрозы Бурцева Овечкин отвечал обыкновенно с хитрой улыбкой. До армии Овечкин был архитектором и участвовал в создании проекта Дворца Советов в Москве. Этого он никогда не забывал. Это обстоятельство он весьма логично использовал и в споре с комбатом.

— А вот посажу я тебя за такое поведение под домашний арест,— говорил, бывало, Бурцев, у которого Овечкин, несмотря на отчаянные протесты и настоятельные требования вернуть назад ход, снимал с доски прозванного ферзя.

— Не посадишь,— отвечал, улыбаясь, Овечкин.

— Почему не посажу? Я начальство, а ты находишься в моем подчинении.

— Ну и что же,— отвечал на это Овечкин. — А если нас демобилизуют, что тогда? Кем ты тогда будешь? Я буду архитектором. А ты?

— Буду мороженое продавать, — не смущался комбат. — А под арест я тебя пока что все-таки посажу.

Пришло время, и увлечение домино и шахматами сменилось у лейтенанта Бурцева увлечением рыбной ловлей. В течение недели или больше ловил он рыбу, забросив многие другие занятия. Ловил днем и ночью. А началось все с такого случая.

С марта на Каспии наступила настоящая весна. С приходом весны боевой подготовкой солдат занимались в основном мы, младшие командиры. Занимались чаще всего на берегу моря. Там разбирали и собирали винтовку и полуавтомат. Изучали наставление по стрельбе. Проводили другие занятия.

Однажды Бурцев решил проверить, как идут занятия. Пошел на берег, но долго не мог там никого отыскать. Наконец набрел он на пещеру, в которой увидел спящих солдат и не обнаружил их командиров.

Лейтенант разгневался. Сразу же зашумел. Разбудил солдат и высказался, как он один только высказываться умел. Спросил, где находятся командиры. Солдаты, испугавшись не столько крика, сколько серьезного выражения лица комбата, все рассказали. Пошли, мол, командиры рыбу ловить. А их оставили заниматься самостоятельно. И показали, куда именно пошли командиры.

Лейтенант Бурцев по этой указке легко нас нашел.

— Ах, мать вашу... — приветствовал он нас. — Дьяволы курносые! Лодыри непробудные! Кто вам позволил? По пяти нарядов вне очереди каждому маминому сыну!

Мы побросали удочки и стояли перед комбатом по стойке «смирно». Нам было неловко. Чувствовали себя виноватыми. Один Кузьменко, родом из Одессы, партнер Бурцева по «козлу», не успел или просто забыл встать и продолжал ловить рыбу. Бурцев набросился на него:

— Ослеп, что ли? Не видишь, кто перед тобой? Я тебя быстро вылечу. Пять суток гауптвахты!

Кузьменко поднялся на ноги и сказал виновато и простоудушно:

— Извиняюсь, конечно, товарищ лейтенант. Но очень уж хорошо рыба ловится.

— Хорошо? — тут же забыв о гневе, заинтересовался командир. — Покажи, что поймал.

Кузьменко показал ему свою банку с рыбой. Рыбы было много, большой и маленькой: бычков, подлещиков, судаков. Бурцев по достоинству оценил улов.

— Дай-ка попробую, — сказал он.

Кузьменко передал комбату удочку. Комбат уселся у самого края воды и закинул удочку в воду. Мы расположились за его спиной и стали наблюдать, что у него получается.

А у него не получалось. Совсем не получалось. Он волновался, спешил, сердился, вскакивал на ноги, кричал на рыбу, кричал на нас — рыба к нему не шла.

— У, стерва! — восклицал он. — Ах ты, болеро испанское! Зануда, сука ты позорная! Я тебе покажу...

Отчаявшись, комбат бросил удочку и, обращаясь к Кузьменко, сказал:

— Гауптвахту отменяю. Ночью заступишь на дежурство наблюдателем. В четыре утра разбудишь меня. Не буду вставать — все равно разбуди. Буду ловить рыбу.

Во второй половине марта 1941 года нас перевели в другое место. Здесь все оказалось иначе, чем на острове. Прежней свободы не было. И начальство к нам наведывалось частенько.

Правда, появилась возможность ходить в увольнительную.

Увольнительные записки солдатам и младшим командирам лейтенант Бурцев выдавал самолично. И

при этом всегда инструктировал. Строго предупреждал: вести себя согласно уставу и ни в коем случае не опаздывать. Дело, мол, это нешуточное.

Что опоздание из увольнения дело нешуточное, знали мы и сами, без подсказок. Вышло тогда постановление: за опоздание более чем на двадцать минут полагался дисциплинарный батальон сроком до двух лет. Это было очень тяжелое наказание.

И все-таки однажды я опоздал...

В Баку, как и многие другие мои товарищи, я завел знакомство. С девушкой из немецкой колонии (была тогда в Баку такая колония). Девушка рыжая, симпатичная. Пришлась она мне по сердцу.

Она только закончила среднюю школу и была начитанной. Нам было о чем с нею поговорить. Мы разговаривали о стихах, о новых кинофильмах, отечественных и иностранных. Кроме того, мы с нею целовались. Целоваться с нею было приятно. Но я все-таки всегда уходил от нее своевременно.

И в тот злополучный день собирался уйти вовремя. Я стал прощаться с моей девушкой за час до конца срока увольнительной. Но она меня не отпускала. Очень мило не отпускала. И когда я уходил от девушки, срок увольнительной уже истек.

А потом пришлось ждать автобус, шедший из Баку. И автобус все не приходил, хотя по расписанию должен был прийти. Я опоздал с возвращением на батарею почти на полтора часа.

Вначале я нервничал, волновался. А с некоторого времени и нервничать и волноваться перестал. Чувствовал себя так, как чувствуют люди обреченные.

Придя на батарею, отправился сразу к комбату, доложил об опоздании. Причину опоздания объяснять не стал. Какая, думал, теперь разница!

Пока я докладывал, комбат смотрел на меня очень серьезно. Никогда прежде я не видел у него таких

серьезных глаз. Он смотрел на меня прямо, пристально, глаза в глаза, и молчал.

И вдруг сразу, в один момент, взорвался. Он вскочил со стула, он закричал, выпалил в меня весь несравненный набор своих бранных слов.

— Молчать! — кричал он, хотя я давно уже молчал и не собирался прерывать своего молчания. — Молчать, мамин сын! Ты что это мне врешь? Ты что феровину городишь? Ничего ты, мать-мать, не опоздал! Ты совсем, туды и растуды, не опоздал!

О, как он ругался! И как я тогда ошалело-счастлив был, слушая его ругань. Ведь он спас меня. Спас от большой, может быть непоправимой, беды. На всю жизнь я это запомнил. На всю жизнь запомнил этого удивительного, славного, бесконечно доброго человека!

Что стало с лейтенантом Бурцевым? Какая судьба его поджидала? Погиб ли он где-нибудь на одном из полей великой и жестокой войны? Или выпало ему редкое счастье остаться живым? В последнее трудно поверить. Такие, как он, с войны чаще всего не возвращались.

Перед самым началом Отечественной наш артиллерийский полк был расформирован. Я попал в Ленинанкан. Лейтенанта Бурцева оставили в Баку, назначили командиром подразделения в военном училище. Перед отправкой в Ленинанкан я встретил его случайно на Приморском бульваре. «Как живу? — сказал он мне. — Откровенно говоря, ферово. Какой из меня командир-наставник? Я человек вольный, люблю жить не по правилам, а меня заставляют воспитывать желторотых: делай то-то и не делай того-то. Тут, брат, совсем сгинешь от тоски зеленой...»

По бульвару навстречу нам шел незнакомый старший лейтенант. Я приготовился переходить на строевой шаг, как это и положено было по уставу. Бурцев заметил это мое движение и не одобрил. Он тронул

меня за рукав и сказал: «Отставить, сержант! Когда идешь со мной, ниже капитана никого можешь не приветствовать!»

Боец Гасанов

У Гасанова было так мало волос на голове, что, как казалось, их можно сосчитать и не ошибиться. Но каждый волосок торчал сам по себе, задиристо и грозно, и это производило внушительное и вместе с тем забавное впечатление. Гасанов вообще был очень забавен. Маленького роста, порывистый, не по возрасту наивный.

Судьба свела меня с ним незадолго до начала войны. Мы служили вместе на Каспии. Он был местным. То есть не из самого Баку, а из аула, из глухой азербайджанской деревеньки, расположенной километрах в семидесяти от Баку. До призыва в армию он работал колхозным бригадиром. Было ему лет тридцать. Нам, девятнадцатилетним, представлялся он стариком. По каким-то причинам ему из года в год давали отсрочку от военной службы, а в начале сорок первого призывали.

Солдатом он оказался, прямо скажем, не из лучших. Это не значит, что он несерьезно относился к своим солдатским обязанностям. Напротив, всегда очень старался. Усердно обучался строевой службе. Старательно заучивал названия частей пушки. По долгу закручивал свои обмотки, что не мешало им спускаться всякий раз в самый неподходящий момент.

С особой бережностью относился он к своему котелку и ложке. Когда получил котелок, долго сидел над ним с длинным гвоздем в руке, пока не выцарапал на стенке: «Боец Гасан Али оглы Гасанов». «Пусть всегда будет мой котелок», — сказал он при этом.

Был Гасанов человеком чрезвычайно пытливым. Настырным даже в своей пытливости. Задавал самые неожиданные вопросы и чаще всего не соглашался с тем, как на них отвечали. Меня однажды спросил:

— Я живу в Азербайджане. А ты будешь из какой области?

— Из Ленинграда, — ответил я.

— Значит, из Москвы, — возразил он.

— Почему из Москвы? Я сказал, из Ленинграда.

— Зачем споришь, друг? Какая разница! Сперва называли Москвой, потом Ленин умер — Ленинград стали называть.

Как-то мы отправились с ним вместе с острова в увольнение. На шаланде доплыли до Большой земли и пошли гулять по главной улице Баку, по Приморскому бульвару. Он шагал рядом со мной, чуть припрыгивая по своему обыкновению, размахивая руками. И, как всегда, задавал вопросы:

— Скажи, ты женатый? У тебя был любовник? Она плакала, когда тебя провожал?

Навстречу шел патруль. Пехотный командир с двумя кубиками в петлицах — лейтенант — и с ним два матроса. В должный момент я перешел на строевой шаг, готовясь к приветствию. А Гасанов не менял шага. Только еще больше замахал руками и уставился во все глаза на патрульных. Начальник патруля подождал его к себе:

— Товарищ боец, вы почему не приветствуете?

— А я подумал, что ты солдат, — отвечал Гасанов.

— Значит, по-вашему, солдата приветствовать не нужно?

— Конечно, не нужно. Солдат много. Если всех приветствовать, когда гулять будешь!

Гасанов говорил это совершенно серьезно. Он признавал себя правым и от этого все время подпрыгивал и кипятился. Патрульный лейтенант тоже кипятился, хо-

тя и по другим причинам. Я думал, что Гасанова заберут в комендатуру. Тем более что времена были на счет дисциплины строгие. Но лейтенант вел себя, по моему разумению, странно: в комендатуру Гасанова не отправлял, а вместо этого разъяснял ему уставные требования и правила солдатского поведения. Гасанов же его ежеминутно перебивал и задавал вопросы. В конце концов лейтенант, весь багровый от напрасных усилий, махнул на Гасанова рукой.

— Иди ты... — сказал он, переходя почему-то на «ты». — Иди к своим командирам. Пусть они тебя учат.

Свои командиры относились к Гасанову не только снисходительно, но даже с нежностью. Чем-то он брал их за душу. Его любил и лейтенант Бурцев, любили и взводные командиры. А командир подразделения части, суровый Кольцов, с некоторых пор стал называть его другом.

Случилось все вот как. Стоял Гасанов на посту. Довольно далеко от расположения батареи. А в это время на остров прибыл Кольцов. Решил он проверить, как идет караульная служба. Пошел без начальника караула, без разводящего на пост. Как раз на тот, где часовым стоял Гасанов. Дело шло к вечеру, но было еще довольно светло. Гасанов издали заметил, что кто-то идет к нему, заволновался.

— Стой, кто идет? — попытался крикнуть он во весь голос, но голос не подчинился, получилось у него негромко и хрипло.

Тем временем майор Кольцов приближался.

— Стой! Стрелять будем! — хрипел и волновался Гасанов.

Командир молчал и шел дальше. Он был уже близко, и Гасанов узнал его. И оттого, что узнал, стал волноваться еще больше. Он совсем потерялся. А когда Кольцов подошел вплотную, он перехватил вдруг вин-

товку из правой руки в левую и протянул свободную правую руку:

— А, это ты, командир! Я узнал тебя. Здравствуй!

Кольцова трудно было смутить, но тут он в первый момент растерялся и не нашелся что сказать. Такого с ним еще не бывало. А потом он улыбнулся, широко, во все лицо улыбнулся и тоже протянул руку:

— Ну, что же, здорово! Здорово, друг!

С тех пор другом его и называл. Встретит, бывало, Гасанов в расположении полка, остановит его, спрашивает:

— Как живешь, друг?

А Гасанов, волнуясь, в ответ тот же вопрос задаст:

— А ты как живешь?

— Я что-то неважно, понимаешь, живу,— улыбался Кольцов.

— Зачем обманываешь! — говорил ему Гасанов.— Ты командир. Как ты можешь плохо жить!

Майор так полюбил Гасанова, что даже отпуск на неделю предоставил (отпуска тогда были редким исключением). За отличную стрельбу. Никогда Гасанов в стрельбе не отличался, а тут, когда на учебные стрельбы прибыл командир Кольцов, с ним настоящее диво приключилось. Стреляя из боевой винтовки, двадцать семь из тридцати возможных выбил. Мы даже не сразу поверили, что такое могло быть. А Кольцов долго тряс руку своего друга, поздравлял его. Потом спросил:

— Семья у тебя есть, Гасанов?

— Как же нет семья? — отвечал Гасанов. — Жена есть. Сына три штуки есть.

— Ну вот и хорошо,— сказал Кольцов.— Поезжай к ним на неделю. Проведай. Награждаю тебя за успехи в боевой и политической подготовке.

Это было в конце марта 1941 года. В первую неделю апреля Гасанов вернулся из отпуска. Разговорчи-

вый, довольный. Больше всего о сыновьях своих рассказывал.

— Ты не думай,— говорил он мне,— они на меня совсем не похожи. Очень красивый. Стройный. Большой ростом. И волос на голове много.

А спустя два с половиной месяца, двадцать второго июня, началась война.

С этого дня мы были в походах, в боях, рядом, вместе до декабря 1941 года. Точнее, до девятого декабря, до того боя под Самбеком, в котором многие из наших ребят погибли.

Путь наш к Самбеку был такой. Начало войны застало нас в Ленинакане. Потом около месяца мы проходили доформировку и ремонт материальной части в Махачкале. В середине ноября мы двинулись к Ростову-на-Дону.

Немцы тогда только что захватили город Ростов-на-Дону, и перед нами была поставлена задача снова овладеть им.

Со своими 37-миллиметровыми зенитными пушками, предназначенными также и для стрельбы по наземным целям, сопровождая танки 54-й танковой бригады, мы шли через станицу Аксай на Ростов. Форсировали Дон. В ночной атаке отбили Ростов у противника и продолжали его преследовать в направлении к Таганрогу.

На станции Синявская мы остановились на короткий отдых. На станции в ту пору располагался штаб 9-й армии, и там была столовая для комсостава, где можно было за деньги (случай на войне редкий) хорошо поесть.

То, что в столовую пускали только средних и старших командиров, а мы были младшие и просто рядовые, нас не смущало. Одетые в полушубки, мы вполне могли сойти за комсостав.

Собираясь в столовую, Гасанов решил взять с собой котелок. Я не мог ему этого позволить.

— Ты это брось,— сказал я ему.— Из-за твоего котелка нас сразу разоблачат. Зачем он тебе?

— А если тарелка не хватит? Как буду без котелка?

— Хватит тебе тарелка,— сказал я.

Хотя мне и удалось уговорить Гасанова насчет котелка, он все-таки разоблачил себя и нас. Притом самым неожиданным образом.

Мы сидели в теплой столовой — на дворе мороз был за тридцать,— сидели за столом, покрытым чистой белой скатертью. Против каждого на столе лежали ложка, вилка и нож, а посередине стояла тарелка с тонко нарезанным хлебом. Мы ждали, когда подадут заказанный нами обед, и чувствовали себя, как говорится, распрекрасно.

Только Гасанов проявлял видимое беспокойство и не отводил глаз от тарелки с тонко нарезанным пшеничным хлебом. Именно этот тонко нарезанный хлеб — я это понял потом — казался ему чем-то чуждым и странным и потому привлек к себе его внимание. Он вдруг взял в руки вилку и ручкой ее стал громко стучать по столу:

— Официантка, ко мне!

К нам подошла милая светловолосая девушка в белом переднике, спросила:

— Что вам, товарищи командиры?

Гасанов посмотрел на девушку строго и сказал:

— Где моя пайка хлеба? Почему ты не дал мне мою пайку хлеба?

Конечно, по словам Гасанова все сразу поняли, кто мы такие. Подошел дежурный по столовой. Выгонять нас не стал, дал дообедать. Но впредь наказал не ходить: не положено.

Это было — очень хорошо я запомнил — шестого

декабря. А девятого декабря, под Самбеком, мы вступили в бой с немецкими танками и самолетами.

Еще в шесть утра все было тихо. Небо было темно-глубоким, безоблачным и беззвездным. На дальнем краю его чуть заметно занималась заря.

К нам подъехала кухня. С того обеда в комсоставской столовой мы почти ничего не ели. Кухня днями отсиживалась от немецких самолетов, которых особенно много было в первые месяцы войны, а ночами все догоняла нас. И вот только теперь догнала.

Повар Ванюша Сучков, маленького роста и непомерно широкий в плечах, разлил нам по котелку горохового супа с мясом и выдал по краюхе сильно подмерзшего хлеба. Но все это так и осталось нетронутым.

Только мы взялись за ложки, как услышали над собой гул самолетов. Потом не только сверху, но и вокруг все загудело. На нас двигались немецкие танки. Заходя кругами, один за другим пикировали «юнкерсы». Мы оставили котелки и бросились к своим пушкам. Стреляли из пушек очередями то по самолетам, то по танкам.

Сколько стреляли, как в точности было, не помню. Не только теперь не могу сказать этого, но и тогда сказать не смог бы. Все было как в тумане.

Помню только, что осколками бомбы заклинило вдруг одну, а затем и другую пушку. Мы взяли в руки автоматы, положили рядом с собою связки гранат и залегли, продолжая держать оборону. Вот тогда-то и вышел вперед Гасанов. Он вышел сам, без приказа. Его никто не посылал. Несмотря на сильный мороз, он шел в распахнутом полушубке, в полный рост, как всегда заметно подпрыгивая. Пройдя несколько десятков шагов, он бросил связку гранат в направлении переднего немецкого танка. И в тот же момент словно кто-то его толкнул, опрокинул на спину, навзничь,— и темное, большое кровавое пятно расплылось на снегу.

Бой продолжался, казалось, бесконечно. Время потеряло свой отсчет. После боя нас осталось мало. Но немецкие танки не прошли, оборона была удержана.

Ближе к вечеру, после того как последние немецкие самолеты, отбомбься и отстрелявшись, улетели и все более или менее затихло, мы оттащили мертвое тело Гасанова и вместе с другими убитыми похоронили в свежевыкопанной братской могиле.

И только после этого мы осмотрелись и все увидели. На месте, где прежде стояла наша батарея, было черно и пустынно. Изрытая воронками земля. Тут и там валявшиеся осколки металла. Искореженные орудия, торчавшие бесформенными бугорками из-под потемневшего снега. И лишь один котелок, чудом уцелевший и даже сохранивший свои очертания, стоял нетронутым среди всеобщего запустения.

Он был весь черный от пороховой копоти и сажки, и внутри его каменно застыла темно-серая ледяная масса — то, что было прежде гороховым супом. А на стенке котелка — или мне это только показалось? — в закопченной черноте чуть высвечивалось, мерцало выпарапанное гвоздем: «Боец Гасан Али оглы Гасанов».

Капитан Петров

Капитан Петров был начальником разведки нашего артиллерийского полка. До войны он жил в Ленинграде. Это имело для меня большое значение. Уже по одной этой причине я чувствовал в нем близкого себе человека.

В тех случаях, когда нам приходилось бывать вместе и разговаривать, о Ленинграде речи не было. Но капитан знал, что я из Ленинграда, и я знал то же о нем. И этого оказывалось достаточно.

Можно сказать даже, что мы были друзьями. Несмотря на различие положения и чинов и несмотря на то, что в дружбе мы никогда не признавались. Ленинградцев на войне всегда тянуло друг к другу. А в нашей дивизии, составленной в основном из сибиряков и жителей Башкирии, ленинградцы попадались редко.

Был капитан высокого роста и сутуловат. Коротко стриженные русые волосы, на глазах очки. Ничего типично военного в его лице и фигуре не отмечалось. Всякому было заметно, что он не из кадровых.

Говорил он все больше отрывистыми фразами. Вообще отличался молчаливостью, а когда говорил, то коротко. В его речи запомнилась мне поговорка, которую он любил и которую, наверное, сам и придумал: «Пока до бога доберешься, апостолы голову снимут».

Особенно близко и памятно я узнал капитана Петрова в августе 1944 года. В эту пору, в ходе большого летнего наступления, мы овладели городом Вилкавишкисом, расположенным на западной окраине Литвы, близ границы Восточной Пруссии. Город был занят не целиком: небольшую его часть еще удерживали немцы.

В дальнем конце города, на узкой улочке, метрах в двухстах от передовых немецких позиций, стоял ряд двухэтажных деревянных домиков. В одном из них мы оборудовали свой наблюдательный пункт. На втором этаже чердачного типа в окне была установлена стереотруба, и мы поочередно дежурили возле нее, корректируя огонь полковых батарей. Свободные от дежурства разведчики и связисты, если не отдыхали, рыли на дворе щели-окопчики на случай обстрела.

Так прошли первые два дня нашего пребывания в Вилкавишкисе. На третий день нам приказали оборудовать запасной наблюдательный пункт. На колокольне костела, расположенного в центре города. Послали меня и Сережу Галкина.

Мы провели в костеле только одну ночь. Наутро следующего дня началось немецкое контрнаступление.

Сперва нас чуть не оглушил сплошной вой «скрипачей», немецких минометов. Минометов, видимо, было много. И мы их не только слышали. Со своей наблюдательной вышки увидели, как в разных концах города поднимались вверх огромные столбы дыма и огня.

Одними из первых накрыли минометным огнем наши деревянные домики. Их даже не снесло, а точно срезало. Так нам с Сережей показалось. Тут же пришла мысль о наших товарищах: что с ними случилось? Живы ли они?

Потом мы увидели немецкие танки. Они продвигались медленно, тяжело и грозно по полевой дороге, ведущей в город. Их тоже было много. Им не видно было конца.

Что нам делать? Как поступить? Остаться в костеле опасно и бесполезно. Но и покидать костел нельзя без приказа.

Мы совсем потерялись в мыслях, когда на колокольню взбежал по лестнице связист из штабной батареи полка. Он дышал быстро и трудно. Увидев нас, замахал руками:

— Айда за мной! Приказ всем разведчикам дивизии собраться вместе. В домике под красной крышей. Тут недалеко.

Пока мы шли и бежали к домику под красной крышей, связист успел рассказать, что товарищи наши, к счастью, остались целы, только один ранен в ногу. Спасли всех окопчики, в которые успели скрыться при обстреле. Рассказал также, что был такой переполох и шурум-бурум, что о нас с Сережей позабыли. Хорошо, что вспомнил капитан Петров. Он-то и послал к нам связиста.

Домик под красной крышей был, собственно, не домик, а большой дом. С просторной комнатой — залом. К нашему приходу в зале собрались и дивизионные разведчики, и полковые пехотные, и некоторые из наших, артиллерийских. Всего человек шестьдесят — семьдесят. Здесь я увидел знаменитого дивизионного разведчика Яшу Тарарина. И моего приятеля Ваню Трусова — тоже из дивизионной разведки. Много знакомых лиц оказалось.

Здесь был уже и капитан Петров. Я сразу же подошел к нему. На его хмуром лице появилось что-то вроде улыбки.

— Прибыл? — сказал он. — Хорошо.

И похлопал меня по плечу — так же коротко, как и сказал.

В центре зала стоял майор, начальник дивизионной разведки. Крупный, по-мужски красивый, с жесткими глазами. Сразу было видно, что он главный начальник, всеми здесь командует.

Он разъяснил обстановку. Сказал, что в город вошли более сотни танков из дивизии СС. И они двигаются в нашу сторону. Задача, как он сказал, предстоит нелегкая: всем занять круговую оборону и ни шагу назад — стоять насмерть!

И он приказал готовить к бою гранаты и автоматы.

Автоматами против танков не повоюешь, и гранаты у нас для танков тоже неподходящие — противопехотные, обыкновенные «лимонки». Но и оспаривать приказ мы не могли и не смели. Майор был из тех командиров, которые не принимают возражений. Обычно вольные на слова и поступки разведчики на этот раз молчали. Только Сережа Галкин сказал мне совсем тихо:

— Теперь нам скоро безусловная хана. Говорят, что в таких случаях неплохо бы переодеться во все чистое.

Неожиданно выручил всех капитан Петров.

Я стоял у окна, самого дальнего, в глубине зала. Мысли в голову приходили скверные. На дворе было пасмурно. Накрапывал дождик. Из окна виднелись высокие кирпичные стены соседнего дома. Между нашим домом и соседним пролегалла канава. В канаве копошились лягушки. Много лягушек. Зеленых, блестящих, как на детских картинках. Они прыгали и допрыгивали до окна. Одна за другой, раз за разом все прыгали и прыгали.

К окну подошел капитан Петров. Встал рядом со мной. Сказал:

— Лягушки... Да... Прыгают...

И замолчал. Постоял некоторое время, поправил очки, потом снова заговорил. Негромко, как будто размышляя, не глядя на майора, но адресуясь к нему:

— Я вот о чем подумал, майор. Не занять ли оборону в соседнем домике? В кирпичном. Он не такой открытый. Там больше продержимся.

Я убежден, что если бы капитан говорил все это чуть громче, чуть настойчивее, майор ни за что бы не послушался его. Но слова капитана Петрова были даже не советом, просто его мыслями — и только такое, именно так сказанное, и мог услышать майор.

Он тоже подошел к окну. Долго думал. Долго смотрел в окно. Согласиться так сразу для него было бы неестественно. Но, какое-то время помедлив, он все же решил. Вскинул голову, резко сказал:

— Пожалуй, так и сделаем. Капитан прав. Там оборона будет надежнее. Приказываю занять оборону в кирпичном доме!

Как часто случается с человеком и с людьми в малых и больших делах, стоит только чуть-чуть отпустить — и уже не удержишь, не остановишь. Так случилось и с нами. Кирпичный дом был рядом. Перейти, перебежать туда заняло бы буквально несколько

минут. Но стоило нам выйти из дома под красной крышей, как нас сразу же понесло.

Мы выбежали из нашего дома, миновали кирпичный, побежали дальше. Я не помню, как вел себя майор, пытался ли он остановить бегущих, что говорил и говорил ли вообще. Помню только, что уже потом майор бежал где-то неподалеку от меня, молча. И совсем близко, тоже молча, бежал капитан Петров.

Все были точно подхвачены одним ветром, единою силой. Почему мы бежали именно в том, а не в другом направлении? Кто определял и подсказывал наш путь? На это я ни тогда, ни теперь не знаю ответа.

Почему-то мы бежали в направлении к той дороге, по которой шли немецкие танки. Правда, сразу же за дорогой был спуск и вел он к городскому кладбищу, расположенному в закрытой лесистой местности. Получилось так, что пути нашего отступления, хотя и не запланированные, хотя и полные опасностей, были все-таки самыми целесообразными. На кладбище, куда нелегко было пробраться немецким танкам, нас ждало единственно возможное спасение.

Главная трудность заключалась в том, чтобы перебежать дорогу — шоссе. Танки шли по нему по одному, с интервалом в двести — двести пятьдесят метров. Этим интервалом мы и пользовались. Дожидались момента, когда один танк уже скрылся, а другой, следующий, был еще сравнительно далеко, перебежали поодиночке или вдвоем дорогу, перелезали через колючую проволоку, протянутую сразу же за шоссе, и устремлялись вниз, дальше, по направлению к кладбищу.

На кладбище мы заняли круговую оборону. Находились мы здесь не одни. Еще до нас сюда прибыли и расположились в боевых порядках некоторые другие подразделения дивизии. Совсем рядом, развернув в разные стороны четыре свои 76-миллиметровые пушки,

заняла огневую позицию седьмая батарея нашего артиллерийского полка.

Так и пробыли на кладбище до позднего вечера. К удивлению, немцы нас почти не беспокоили. Может быть, они решили, что мы и без того обречены. Наступая, немецкие автоматчики заняли противотанковый ров, который полукругом охватывал северную и восточную части города. По существу, мы оказались в кольце окружения.

Общее командование подразделениями, собравшимися на территории кладбища, принял на себя майор, начальник дивизионной разведки. Это получилось как-то само собой. Майор опять чувствовал себя в силе. Твердым голосом отдавал приказания, и взгляд его был спокоен и бесстрашен.

Он не мог только в течение долгого времени наладить связь со штабом дивизии. Штаб находился за пределами города. По этому поводу капитан Петров вспомнил свою поговорку, но не всю, а только первую ее половину: «Пока до бога доберешься...»

Он сказал это и больше ничего не добавил. Лежал рядом с нами, с разведчиками, с гранатой и пистолетом в руках.

А к вечеру наконец удалось связаться со штабом. Оттуда последовал приказ: не ввязываясь в бой, ночью выходить из города.

Ровно в двенадцать ночи все по команде поднялись со своих мест и двинулись в сторону противотанкового рва. Было темно. Шел дождь. Тучи сплошь покрыли ночное небо. Шли почти бесшумно, притаив дыхание. Когда до противотанкового рва оставалось чуть больше ста метров, мы поползли. Разреженной цепью, с тем чтобы уже у самого рва вскочить на ноги и с криком «ура» (дабы ошеломить противника) перепрыгнуть ров и бежать дальше, за город, в расположение наших тылов.

Я довольно ловко перепрыгнул ров и сразу же прибавил скорости. Немцы стреляли вдогонку из пулеметов и автоматов. Огонь был беспорядочным. Наш ночной прорыв оказался для противника явно неожиданным.

Я бежал как только мог быстро, ни о чем, кроме спасения, не думая. Рядом со мной, обгоняя, бежали другие разведчики. Я пробежал так почти с километр, как вдруг внезапно осознал: я позабыл о капитане Петрове, потерял его.

Где он? Почему его нет рядом? Может быть, он убит? Или ранен и нуждается в помощи?

Я остановился. Пошел назад. Туда, где стреляли, но куда теперь, когда ко мне вернулась вся ясность сознания, не идти не мог.

Шел назад, все убыстряя шаг. Так прошел уже довольно далеко. Где-то рядом пролетали, тихо и яростно взвизгивая, немецкие пули.

И вдруг я его увидел. Капитана Петрова. Почти прямо перед собой. Он шагал мне навстречу. Как я обрадовался ему! Был он весь темно-серый, и только на одной стороне головы, там, где было ухо, бросалась в глаза яркая белизна. Присмотревшись, я понял: то была марлевая повязка.

Узнав меня, капитан Петров спросил:

— Ты куда?

— За вами, — ответил я.

— А, — сказал он спокойно, несколько не удивившись. — А я, понимаешь, не рассчитал. Прыгал через траншею, а попал в нее. Чепуха какая-то. Там немец сидел. Может, и два. Я пистолетом, рукояткой. Бил куда попало. Темь, не видно. А потом выбрался. Видишь, цел в общем. А это мне в ухо. Пулей вслед. Совсем, понимаешь, ухо оторвало. Сам и перевязал. Индивидуальным пакетом.

И повторил опять:

— Чепуха какая-то...

Дальше мы с ним шли вместе. Бок о бок. Всю ночь. Немножко говорили. Не о важном. Больше молчали. Уже когда стало светать, дошли до расположения тылов дивизии. Среди многих указателей увидели «Медсанбат». Капитан остановился. Постоял. Протянул руку. Сказал:

— Вот и дошли. Мне туда. Будь жив. Может, и встретимся в Ленинграде?

О Ленинграде он мне в первый раз сказал. И это было мне от него особенным и добрым знаком.

Но в Ленинграде мы так и не встретились. Хотя я и вернулся с войны живым.

Вернулся ли он? Да если и вернулся, легко ли было нам встретиться? Я ведь не то что адреса его не знал, я даже не знал, как его зовут.

Был он для меня капитаном Петровым, так и остался.



Борис Викторович Томашевский

Было время, когда слово «пушкинист» заключало в себе для некоторых людей не положительный, а отрицательный смысл. Говорили «пушкинист» и имели в виду схоласта, мелочного исследователя, копающегося в ненужных частностях, человека, глухого к поэзии и далекого от жизни. Это и тогда было несправедливо, но иные так думали.

Сейчас уже никто так не думает. Может быть, оттого, что настоящих ученых-пушкинистов осталось совсем немного. Их можно пересчитать по пальцам. И теперь слово «пушкинист» стало для всех нас высоким словом.

Пушкинист для нас — это ученый, который не только хорошо знает Пушкина и плодотворно занимается изучением его творчества, но и много знающий человек. Человек энциклопедических познаний, ученый универсального типа, самого широкого кругозора.

Именно таким был один из самых замечательных советских ученых — Борис Викторович Томашевский.

Я знал его. У меня даже есть некоторое право называть его своим учителем. А главное, я часто вспоминаю о нем и никогда не смогу его забыть.

Знания его были поистине огромны. И в русской литературе, и в западной. И в музыке. И в точных науках. Анна Андреевна Ахматова, которая дружила с Томашевским и очень ценила его, назвала его когда-то самым образованным человеком во всей Европе. И эта оценка Ахматовой совсем не кажется преувеличенной. С нею легко соглашаешься. Она представляется справедливой и заслуженной.

В начале 50-х годов Борис Михайлович Эйхенбаум работал над изданием «Записок современника» Жихарева. Научным редактором книги утвердили Томашевского. Не знаю, просил ли о том Борис Михайлович, но знаю, что он был очень доволен. «Он все знает, все помнит,— говорил Эйхенбаум.— Удивительное дело. Необыкновенная память. Необыкновенно широкие познания. Он не даст ошибиться. По-человечески мы с ним не очень близки. Но как хорошо, что мне дали его в редакторы. Как это мне сейчас помогает!»

По образованию Томашевский был «технарем», математиком. В 1912 году он окончил Льежский университет с дипломом инженера-электрика. Мне рассказывали, что, когда в 30-е годы его на короткое время, за принадлежность к формальной школе в литературоведении, уволили из Ленинградского университета, он был сразу же принят на работу в один из ленинградских технических институтов — преподавать математику.

Увольнение из университета было нелепостью, ошибкой, и уже через полгода ее поспешили исправить. Но замечательно, что тут взбунтовались студенты технического института. Они написали коллективное письмо в свой наркомат, требуя вернуть им их «лучшего преподавателя математики».

То, что Томашевский был математиком по образованию, не могло не сказаться на складе его ума и на его методологии в литературоведении. Он всегда иронически и даже нетерпимо относился ко всякого рода вольным прочтениям Пушкина. Признавал только факты. Его интересовало лишь то, что подлежало проверке и доказательству, что вытекало непосредственно из самого литературного текста.

Однажды при мне — дело было в Пушкинском доме — к нему подошел молодой литературовед из Новгорода и спросил у него совета:

— Борис Викторович, как вы думаете, стоит ли мне заниматься поэмой Пушкина «Домик в Коломне»?

Борису Викторовичу вопрос явно не понравился. Он спросил в свою очередь:

— А что именно в поэме вас интересует? О ней уже многое написано.

— Я хочу предложить новую интерпретацию поэмы, — сказал молодой литературовед.

Лицо Томашевского сделалось совсем сухим и жестким.

— Ах, новую интерпретацию! — воскликнул он. — Предлагайте. Предлагайте. — И он тут же отвернулся от своего собеседника и больше уже с ним не разговаривал.

На филологическом факультете Ленинградского университета, где я учился во второй половине 40-х годов, Томашевский читал два спецкурса. Один о Пушкине. Другой — «Стилистика и стихосложение». Второй спецкурс я слушал регулярно. Первый посещал с пропусками, чего позднее не мог себе простить.

Свои спецкурсы Томашевский именно читал, а не вел беседы со слушателями. Читал, почти уткнувшись очками в кафедру, перебирая большими веснушчатыми руками листочки с записями. Голос у него был негромкий, глуховатый.

А лицо в очках серьезное, чаще всего без улыбки. Лицом он мне напоминал интеллигентного бухгалтера старого закала. И еще напоминал поэта Николая Заболоцкого, каким я его знал по портрету, помещенному в одной из его книг. Кстати, позднее мне стало известно, что Томашевский с Заболоцким были близко и дружески знакомы.

Нельзя сказать, чтобы на своих лекциях Борис Викторович никогда не оживлялся. Он становился весьма оживленным и едким, когда спорил, полемизировал. Полемизировал он со многими. Преимущественно с теми, кто фантазировал за счет Пушкина, кто выискивал в пушкинских текстах идеи и смыслы, неведомые прежде ни читателям, ни критикам.

Томашевский был человеком одновременно и тонкого и трезвого ума. Он часто повторял, что литературные произведения пишутся не для литературоведов, а для читателей. Те мысли и идеи, которые литературоведы отыскивают в произведениях через сто и более лет после их написания, очень часто оказываются плодом досужей фантазии.

Мне эти слова на всю жизнь запомнились. Я поверил в них и теперь верю.

Многие слова и высказывания, многие его острые замечания запоминались. И конечно, не только мною. Когда ему что-то сильно не нравилось, когда его чем-то всерьез раззадоривали, он бывал быстр на мысль.

Уже после его смерти, на одном из вечеров, посвященных его памяти, кто-то из выступавших сказал: «Борис Викторович никогда не занимал высоких официальных постов. Но его боялись больше, чем боятся большого начальства. Боялись его острого слова».

По поводу остроумия Томашевского еще при его жизни ходили легенды. То есть не легенды в точном смысле слова, а доподлинные рассказы, которые превращались в легенды. Вот один из таких рассказов.

Томашевский очень не любил юбилейных докладов. Слушая один из таких докладов о Пушкине, он хмурился, всячески выражал свое недовольство и наконец сказал:

— Я где-то это уже слышал. Удивительное дело. Все так знакомо.— И, выдержав небольшую паузу, Томашевский добавил: — Вспомнил, где слышал. В прошлом году докладчик это говорил на юбилее Лермонтова.

То, что я посещал его спецкурс о Пушкине нерегулярно, объяснялось не отсутствием у меня интереса к лекциям, а моей тогдашней разбросанностью. Мне хотелось и того, и другого, и третьего. Но за всем мне было не угнаться.

А лекции Томашевского о Пушкине были очень интересными. Не внешние, не формой, а своими идеями, содержанием. Мысли Томашевского о Пушкине и его произведениях были всегда прозрачно-ясными, по виду простыми, порой слишком простыми — и всегда оригинальными и неожиданными в этой своей простоте. Главное же — они побуждали слушателя к собственной мысли.

И у меня под влиянием этих лекций появились какие-то свои идеи о Пушкине. И поскольку они были вдохновлены Томашевским, мне захотелось поделиться с ним ими, рассказать ему о том, что я думаю.

Именно этим объяснялось мое решение сдавать ему зачет не только по стилистике и стихосложению, но и по пушкинскому спецкурсу. Несмотря на то, что спецкурс я прослушал далеко не в полном объеме. И несмотря также на то, что зачет мне сдавать было совсем не обязательно.

Одновременно со спецкурсами Томашевского я слушал еще два: по «Слову о полку Игореве» Игоря Петровича Еремина и по Льву Толстому Бориса Михайловича Эйхенбаума. По этим предметам зачеты я уже

сдал. Так что с точки зрения формальной у меня было все в порядке. Но очень уж мне хотелось побеседовать с Томашевским о Пушкине.

От студентов старшего курса я узнал, что Томашевский на зачете предлагает отвечать на вопросы по выбору самого отвечающего. На такой вариант я и рассчитывал. Хотя и познакомился на всякий случай с полным содержанием пушкинского спецкурса по записи лекций моего приятеля.

На зачете, когда дошла до меня очередь отвечать, Томашевский спросил меня, как я и ожидал:

— Ну-с, о чем будем говорить?

— О «Маленьких трагедиях», — ответил я, ибо как раз о «Маленьких трагедиях» Пушкина у меня и появились свои собственные идеи.

— Слушаю вас, — сказал Томашевский.

И он стал слушать.

А я говорил, волновался, спешил высказаться и при этом время от времени позволял себе заглянуть ему в лицо. Мне хотелось узнать, понять, интересно ли ему то, что я говорю.

Лицо его было спокойно и не выражало ничего особенного. Ни любопытства, ни тем более восторга. В какой-то момент мне даже показалось, что ему скучно. Но когда я кончил, он неожиданно для меня встал со своего места, улыбнулся — улыбнулся не губами, одними глазами — и протянул мне руку.

— Благодарю за ваш ответ, — сказал он. — Желаю вам успехов.

Не знаю, может быть, он не только мне жал после ответа руку и благодарил. Не знаю. Может быть. Но память моя сохранила его движение, его улыбку глазами, его одобрение как самый высокий для меня знак отличия.

Мое отношение к нему было всегда особенное. Не такое, как к другим моим учителям. С Борисом Ми-

хайловичем Эйхенбаумом мне бывало просто. С ним я испытывал больше всего непосредственную радость общения. К Игорю Петровичу Еремину, с его необыкновенными, прекрасными, добрыми глазами, я чувствовал постоянную нежность. Бориса Викторовича Томашевского я не то чтобы боялся — я робел перед ним. Всегда. В каких бы условиях и при каких бы обстоятельствах я с ним ни встречался.

С третьего курса я стал бывать у него дома. На канале Грибоедова, в его просторной квартире на самом высоком этаже, потому что был товарищем его сына Коли. Коля учился на том же курсе, что и я, хотя и на другом отделении.

Помню первый свой приход в этот дом. Точнее сказать, плохо помню подробности, частности. Но общее воспоминание у меня осталось сильное. Была тогда масленица. На масленицу меня и пригласили. Ирина Николаевна пригласила, Колина мать, жена Бориса Викторовича.

Осталось у меня больше всего в памяти ощущение необыкновенности и торжественности того, что было. Ощущение это шло и от яркого света люстр. И от праздничного стола, достаточно, впрочем, скромного. И от хода застольной беседы, в которой велась речь о вещах самых простых и обычных и делалось это спокойно и несуетно.

Помню, поразило меня тогда, что Борис Викторович, обращаясь к жене, говорил не «ты», а «вы». Что-то было в этом старомодное и опять-таки торжественно-величавое. И Ирина Николаевна говорила мужу «вы» и называла его прямо и в третьем лице Борисом Викторовичем.

Потом мне рассказывали, что Борис Викторович был со всеми на «вы». На «ты» он позволял себе быть только с одним человеком — с Тыняновым. До тех пор, пока Тынянов не стал писать романы. Обращение

Тынянова к романам, вообще к беллетристике Томашевский не одобрил.

В доме Томашевского я бывал не однажды. Видел там Ахматову. Еще тоненькую, стройную, хотя уже и немолодую. Встречал Рихтера. Все это мельком, меня с ними не знакомили, но я рад был и тому, что близко и домашне увидел этих замечательных людей.

Хоть я и стал вхож в дом Томашевских, сам Борис Викторович далеко не сразу удержал меня в своей памяти. Как-то я встретил его на улице, на Невском, близ Дома книги. Пospешил поздороваться с ним, поклониться ему. В ответ он приложил руку к шляпе, хотел было уже пройти мимо, но вдруг остановился и, с интересом разглядывая меня сквозь очки, сказал:

— Знаете, ваше лицо мне показалось знакомым. Мы где-то встречались? Вы москвич или ленинградец? Мы не встречались с вами в Москве?

Я смутился и пробормотал в ответ что-то невнятное. Я не признался, где мы с ним встречались.

Постепенно, однако, Томашевский запомнил меня.

Однажды я оказался рядом с ним на концерте Рихтера в Большом зале Ленинградской филармонии. Это было уже в ту пору, когда он помнил меня и знал.

На концерты Рихтера и в те давние времена было очень трудно, практически невозможно достать билеты. Это касалось всех, но не Томашевских. Рихтер дружил с Борисом Викторовичем; когда приезжал в Ленинград на гастроли, часто останавливался в его доме. Естественно, что Томашевские всегда могли попасть на его концерты. Билеты, и на самые лучшие места, им вручал либо сам Рихтер, либо его жена Нина Дорлиак.

В тот раз Ирина Николаевна Томашевская имела три билета на концерт. Не знаю подробностей, но в последний момент один билет у нее оказался лишним. Она позвонила мне по телефону:

— У меня есть свободный билет на Рихтера. Вы не хотели бы пойти?

Я, конечно, хотел.

Место мое оказалось в первом ряду партера. Рядом с Ириной Николаевной. Рядом с Борисом Викторовичем.

Помнится, в первом отделении концерта Рихтер исполнял прелюдии Баха. Второе отделение было посвящено Бетховену.

В первом отделении случилось нечто непредвиденное и для меня очень неприятное. Почти сразу же, как только Рихтер начал играть, на меня напал приступ кашля. Я кашлял непрерывно в течение долгого времени. Чем больше сдерживался, тем сильнее кашлял. Это было, наверное, что-то нервное. Я очень мучился. И больше всего от стыда.

Ирина Николаевна делала вид, что она ничего не замечает и моего кашля просто не слышит. А Борис Викторович, должно быть, и в самом деле не слышал. Он был весь в музыке. Это было видно по его лицу, по выражению лица: глубоко сосредоточенному, отрешенному.

Это было в конце 1953 года. Время для меня особенное. Прошло три года, как окончил университет, и я завершал работу над диссертацией. Однако, чтобы защитить ее, мне предстояло преодолеть некоторые формальные трудности.

Дело в том, что в аспирантуре я не учился. Работал в Ломоносовском мореходном училище — преподавал там русский язык и литературу. И хотя кончал я Ленинградский университет, для университета я был как бы и не совсем своим.

После окончания того концерта Ирина Николаевна спросила меня, как мне понравился Рихтер. И тут же, не дожидаясь моего ответа, обратилась к мужу:

— Борис Викторович, вы не могли бы помочь Же-

не поскорее поставить диссертацию на защиту? Диссертацию он написал.

Борис Викторович поднял на меня свое серьезное, строгое лицо. Какое-то мгновение помолчал. А потом, засветившись через очки глазами, сказал:

— Зачем же помогать? Он сам себе поможет.

Я и тогда не был огорчен этими его словами. А теперь, спустя много лет, вспоминаю их с великою благодарностью. В них не было равнодушия. Не было нежелания помочь. В них было уважение ко мне.

Незадолго до моей защиты Борис Викторович попросил у меня экземпляра диссертации. Захотел познакомиться с ней. Потом уже, кажется накануне защиты, позвал меня к себе.

Возвращая работу, сказал:

— Писать вы умеете. Есть у вас кое-что стоящее. Не волнуйтесь. Все пойдет.

И после этого стал напутствовать, наставлять меня.

Был Борис Викторович во всем человеком сурово честным и глубоко серьезным. Серьезным и по отношению к диссертационным работам. Но к обряду защиты относился он с известной долей не то что легкомыслия, но юмора. Это и сказалось в его наставлениях.

— Вступительное слово не говорите слишком долго, — учил он меня. — Семь — десять минут — и вполне достаточно. Все равно мало кто вас будет слушать. А если станете говорить долго, многие могут на вас рассердиться. Помните, что члены совета — люди в большинстве немолодые. Они легко устают. И все хотят поскорее уйти домой.

Отвечая на замечания рецензентов, не забудьте о вежливости. И не показывайте, что вы умный. Слишком умных члены совета не любят. И некоторые из оппонентов тоже.

Заключительное слово должно быть пространнее, чем вступительное. К нему члены совета относятся с большим вниманием. Но и его не слишком затягивайте. И не спорьте много со своими оппонентами. С некоторыми замечаниями не соглашайтесь, но в основном соглашайтесь. И благодарите. Больше благодарите. Это все любят.

На моей защите Борис Викторович присутствовал как член ученого совета. Пришла на защиту и Ирина Николаевна. Пришла по доброте своей, из сочувствия ко мне.

Мой первый оппонент хвалил диссертацию. Второй тоже в общем хвалил, но в одном месте не удержался от искушения побить меня с помощью эффектной цитаты из классика. Это могло быть для меня, пожалуй, и опасным.

Впрочем, эффектную цитату вполне могли бы и не заметить, если бы ее не заметил Томашевский. Она ему не понравилась. Он не дождался конца цитаты, встал и громко застучал каблуками своих ботинок, направляясь к выходу. Он открыто протестовал.

Защита прошла для меня благополучно. «Против» не было. Все были «за».

После объявления результатов голосования одной из первых поздравить меня подошла Ирина Николаевна. Она сказала мне теплые и сердечные слова. За нею стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Борис Викторович. Когда Ирина Николаевна отошла от меня, он протянул мне руку и произнес без тени улыбки:

— Поздравляю. Хочу только предупредить вас. Если вы думаете, что у вас теперь будет лучше с пищеварением, то вы ошибаетесь.

Через несколько месяцев после моей защиты на ученом совете филологического факультета состоялось обсуждение спецкурса Томашевского «Стилистика и стихосложение». На обсуждении меня не было, но ве-

чером того дня, когда оно состоялось, мне позвонила по телефону Ирина Николаевна:

— Хочу сообщить вам новость. Она имеет к вам самое непосредственное отношение. Думаю, что она будет вам приятна.

И Ирина Николаевна рассказала мне, как проходило обсуждение текста спецкурса, как все одобряли и предложили в итоге издать лекции отдельной книгой. Борис Викторович принял предложение, но поставил при этом условие, чтобы ему официально дали помощника. Когда его спросили, кого бы он хотел в помощники, он назвал мое имя. Возражений со стороны членов совета не было.

— Вы-то сами не возражаете? — спросила меня Ирина Николаевна.

— Что вы, — обрадовался я. — Для меня это такая честь — работать с Борисом Викторовичем!

— Я рада, что вы так сказали, — заметила Ирина Николаевна. — Признаться, иного ответа я от вас и не ожидала. Работать с Борисом Викторовичем, действительно, большая честь. И это будет очень полезно для вас.

При первом нашем деловом свидании Борис Викторович вручил мне толстую папку с напечатанным на машинке текстом лекций и стенограмму их обсуждения на совете. Имея в виду стенограмму, он попросил:

— Познакомьтесь. Прочтите внимательно. Все замечания Бориса Александровича Ларина непременно учтите. Все без исключения. Они по делу. Ларин очень знающий человек, настоящий ученый. Замечания остальных выступавших на обсуждении — на ваше усмотрение. — И еще добавил: — В отношении текста лекций будьте смелее и решительнее. Все, что вам не понравится или покажется неясным, вычеркивайте, исправляйте, заменяйте. И вставьте обязательно примеры из советской литературы. Меня об этом на обсуж-

дении просили. А я, знаете ли, современных авторов знаю плохо. Можно сказать, почти не читаю. Из поэтов читаю Анну Андреевну Ахматову, Заболоцкого. С прозаиками у меня еще хуже. Я весь в девятнадцатом веке. Не устаю читать и перечитывать Достоевского. Он мой любимый писатель. Вы знаете кого-нибудь из современных советских писателей, кто любит Достоевского?

— Кажется, Леонид Леонов, — сказал я.

— В таком случае берите побольше примеров из Леонида Леонова.

Я делал работу частями и, закончив редактирование очередной главки, приносил ее Томашевскому. Он принимал меня в своем кабинете, снизу доверху уставленном книгами. Бегло просматривал принесенное мною. Обещал внимательно посмотреть потом. И вводил меня в большую комнату, одновременно и столовую и гостиную, где Ирина Николаевна ожидала нас с чаем.

За чаем Борис Викторович оживлялся. Рассказывал забавные истории. Больше всего истории из литературной жизни. Охотно вспоминал он различные казусы из литературоведческой практики. Таких казусов он знал великое множество.

Однажды я пришел к нему, когда Ирина Николаевна была в отъезде. Он стоял в кабинете у письменного стола, а я стоял перед ним, хотя и несколько поодаль от него. Он не садился сам, и меня не приглашал сесть. Мне было неловко. Я понял, что мне нужно уходить. Я спросил его, когда мне прийти в следующий раз.

От моего вопроса — так мне показалось — Борис Викторович повеселел. Живые искорки забегали в его глазах за очками.

— Вы не обижайтесь, — сказал он мне. — Приходите тогда, когда вернется Ирина Николаевна. Она знает,

как усадить, как чаем напоить. А я всего этого не умею, не знаю.

За мою работу Борис Викторович меня никогда не хвалил и не порицал. Но по некоторым признакам я понимал, что он мною как помощником доволен не был. Он ждал от меня решительных правок и смелого вторжения в текст. А я с увлечением читал и перечитывал написанное им. Все мне было и знакомо по лекциям, и как бы внове, и все необыкновенно интересно. И я почти ничего не исправлял, позволяя себе вставлять только дополнительные примеры.

Редактор из меня был никудышный. Да и как бы я посмел, как я мог исправлять Томашевского!

Из-за смерти Бориса Викторовича моя работа над его рукописью так и не была закончена. Да и шла, признаться, она в последнее время вяло, и Борис Викторович едва ли не потерял к ней интерес.

Его книга «Стилистика и стихосложение» вышла посмертно, стараниями Ирины Николаевны.

Ирина Николаевна была не просто женой Томашевского, но и известным ученым, талантливым литератором. Ею написана прекрасная книга о Екатерине Семеновой, работы-исследования о «Горе от ума» Грибоедова, о Баратынском и еще многое другое. Она активно помогала мужу в издании Пушкина.

Но одним из самых больших дел ее жизни было издание произведений Томашевского. После его смерти благодаря ее трудам и заботам вышел второй том монографии Томашевского о Пушкине. Вышел сборник его замечательных статей по поэтике. Вышла и его книга «Стилистика и стихосложение».

Она вышла в первоначальном своем виде, без вставок и дополнений, отпечатанная прямо по текстам его лекций. Так решила Ирина Николаевна. И это было мудро и справедливо.

У меня на память о моей работе остался экземпляр книги «Стилистика и стихосложение», подаренный мне Ириной Николаевной, с ее же надписью: «Первому редактору книги...» И еще осталось — и это самое главное — ощущение хотя и малой, но такой живой и значительной для меня самого сопричастности большому делу и жизни большого человека.

Борис Викторович Томашевский умер 24 августа 1957 года в Гурзуфе, где была у него дача и где он проводил ежегодно летние месяцы отпуска. Он умер в море, внезапно, от сердечного приступа.

Каждое утро он, прекрасный пловец, до завтрака делал далекие заплывы. И вот 24 августа его не дождалось к завтраку. Ирины Николаевны тогда в Гурзуфе не было. Был сын. Сильно обеспокоенный, он направился на поиски отца. И нашел его мертвого. Ему встретился в море рыбацкий баркас, на котором везли тело Томашевского.

Об этом рассказала мне Ирина Николаевна. Спустя несколько месяцев после кончины Бориса Викторовича. Она сказала тогда:

— Страшно произносить эти слова, но если что-то и может меня утешить в моем горе, в моей беде, так это то, что умер он вдали от всего суетного и на его похоронах были только близкие и были рыбаки, к которым он всегда относился с большим уважением. Вот бы и мне послала судьба умереть в Гурзуфе, рядом с ним!

Ирина Николаевна Медведева-Томашевская, большой и прекрасный человек, умерла, как сама того хотела, в Гурзуфе. Спустя шестнадцать лет после смерти мужа.

Содержание

За рекою — белые домики. <i>Повесть</i>	3
<i>Рассказы</i>	
В санитарном поезде	95
«Улыбнись, мой милый...»	110
Теорема Ферма	134
Сорокапятка	170
Возвращение	179
Нам хочется есть	187
<i>Я их помню. Очерки</i>	
Комбат Бурцев	198
Боец Гасанов	207
Капитан Петров	214
Борис Викторович Томашевский	223

*Евгений Александрович
Маймин*

Я их помню

Повесть, рассказы, очерки

*Заведующий редакцией А. И. Белинский
Редактор В. М. Шевелева
Художник В. Н. Иванов
Художественный редактор А. А. Власов
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор Т. П. Гуренкова*

ИБ № 4717

Сдано в набор 17.02.89. Подписано к печати 30.06.89. М-18226. Формат 70×108^{1/32}. Бумага кн.-журн. Гарн. школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,50. Усл. кр.-отт. 10,68. Уч.-изд. л. 10,35. Тираж 15 000 экз. Заказ № 41. Цена 70 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского
Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Маймин Е. А.

М14 Я их помню: Повесть, рассказы, очерки. — Л.: Лениздат, Псковское отд-ние, 1989. — 238 с. ISBN 5-289-00434-3

В книгу псковского писателя вошли произведения, в основу которых легли воспоминания автора о встречах с различными людьми, с которыми сводила его судьба на фронтах Великой Отечественной войны и в мирные дни.

М $\frac{4702010206-253}{M171(03)-89}$ 186—89

84.3Р7

70 коп.